

В.П. Авенариус



**СРЕДИ ВРАГОВ**

Среди врагов / В.П. Авенариус //Сатисъ, Санкт-Петербург, 2002  
ISBN: 5-7373-0241-5  
FB2: Олег Власов "prussol", 24 September 2019, version 1  
UUID: 4366f737-4c33-11e9-b747-0cc47a5f1565  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Петрович Авенариус

## **Среди врагов**

# Содержание

#1 . . . . .	0006
Предисловие . . . . .	0007
Глава первая . . . . .	0009
Глава вторая . . . . .	0019
Глава третья . . . . .	0032
Глава четвертая . . . . .	0038
Глава пятая . . . . .	0047
Глава шестая . . . . .	0057
Глава седьмая . . . . .	0068
Глава восьмая . . . . .	0079
Глава девятая . . . . .	0096
Глава десятая . . . . .	0104
Глава одиннадцатая . . . . .	0114
Глава двенадцатая . . . . .	0125
Глава тринадцатая . . . . .	0134
Глава четырнадцатая . . . . .	0143
Глава пятнадцатая . . . . .	0153
Глава шестнадцатая . . . . .	0163
Глава семнадцатая . . . . .	0172
Глава восемнадцатая . . . . .	0182
Глава девятнадцатая . . . . .	0191
Глава двадцатая . . . . .	0203
Глава двадцать первая . . . . .	0211
Глава двадцать вторая . . . . .	0219
Глава двадцать третья . . . . .	0230



# **Василий Авенариус Среди врагов**



*По благословению*  
*Митрополита Санкт-Петербургского и*  
*Ладожского*  
**ВЛАДИМИРА**



# Предисловие

Старинные книги и рукописи – страсть моя. Из заброшенной барской усадьбы знакомому мне букинисту было доставлено несколько ящичков старых книг. Отобрав все мало-мальски ценное, букинист свалил остальной хлам в угол лавки для продажи на вес. Роясь в этом хламе, я попал на объемистую тетрадь с пожелтевшими, подмоченными страницами, исписанную простым карандашом. Почерк писавшего был не совсем еще твердый, но четкий, с затейливыми завитушками, орфография же – в некотором разладе с грамматикой. Я хотел уж бросить мою находку в общую кучу, когда на глаза мне попало одно имя, сразу приковавшее мое внимание – имя Наполеона. Перелистывая страницу за страницей, я встретил еще несколько имен французских и русских, получивших громкую известность в эпоху Отечественной войны, а вчитавшись, убедился, что имею в руках подлинный дневник 1812 года. Букинист, не придавая никакого значения этой рукописи, отдал мне ее в придачу к купленным

мною книгам. Выпустив из нее все лишнее, не идущее к делу, я разделил ее, для удобства читателей, на главы с соответственными заголовками и печатаю теперь этот любопытный дневник очевидца, а отчасти и участника великой войны в первоначальном, безыскусственном виде.

# Глава первая

*Бурсак, гувернер-француз и семейство Толбухиных. Весть о переходе Наполеона через Неман. Гувернер скрывается*

Ну вот, очинил карандаш и, благое ловясь, начинаю.

Было это сегодня же, 11 июня. Хожу я этак по двору, в думы свои погруженный, а на встречу мосье Мулине:

– Здравствуйте, молодой человек! Чего нос повесили?

– Тяжело, – говорю, – на душе, – нос книзу и тянет.

– Шутите, мой друг, шутите, – говорит, – а я отлично знаю, что вас гнетет. Тоже ведь раз зеленым юнцом был.

– Ну что? Что?

– А то, что мадемуазель Барб вам опять голову намылила. Ведь так?

– Так или не так, – говорю, – вы-то, мосье Мулине, мне все равно не поможете!

– Напротив, – говорит, – у меня есть для вас верное средство: пишите дневник. Как

выльется на бумагу, что на душе накипело, – сразу полегчает. На себе испытал.

– Да в доме у нас, – говорю, – и чернил-то нет.

– А еще в семинарии всяким наукам обучались! Так карандаш-то хоть найдется. Нет, без шуток, – говорит, – вы послушайте моего совета; этакий дневник – что горчичник: всякую боль оттянет.

Сказал и пошел своей дорогой.

А задала она мне и вправду здоровую взбучку:

– Не могу, – говорит, – глядеть на тебя, Андрюша, как ты целый день этак без дела болтаешься! Ведь ты годом меня моложе.

– Да, – говорю, – с Рождества восемнадцатый пошел.

– Что ж из тебя, наконец, выйдет!

– Ничего, – говорю, – не выйдет. – А сам вздыхаю. – Из бурсы за малоуспешность удален.

– Да малоуспешность-то отчего? От лени?

– Леня, Варвара Аристарховна, раньше нас родилась! Старая еще пословица.

– И преглупая. Поискал бы ты себе ка-

ких-нибудь занятий.

– Да что же я умею? В шашки играть, голубей гонять, бумажный змей пускать...

– И неправда! Учил же ты брата Петю письму, арифметике. Но с тех пор, что взяли для него гувернера, ты от всего отбился, а Петю только глупостям учишь.

– Ах, Варвара Аристарховна! – говорю. – Братец ваш – дворянин; впереди ему везде дорога, а я что? Разночинец, простого дьякона сын...

– Да умом ведь тоже не обижен? Давно ли у нас Мулине; говоришь ты с ним нечасто; а вон как бойко уж болтаешь с ним по-французски.

– И акцент бесподобный, бурсацкий.

– Не акцент, а акцэнт. Способность к языкам у тебя все-таки есть. Право же, Андрюша, взялся бы ты, наконец, за ум.

Тут ее отозвали...

Однако рука у меня с непривычки отекла. На сегодня довольно. А на душе и то ведь как будто немножко отлегло, просветлело.

*Июня 12.* Видел ее нынче только издалека

меж деревьев. В сад свой вышла свежим воздухом подышать. Своя у нее тоже забота немалая: папеньке ее, Аристарху Петровичу, опять много хуже. С утра еще за доктором посылали.

– В Толбуховку переезжать, – говорит, – ни-ни, и думать даже нечего.

Что ж, этим помещикам, что у себя в усадьбе, что в городском своем доме, не житье – малина. И здесь у них при доме какой сад-то: большущий, тенистый, с дорожками, с беседками... А дом подлинно барский: с колоннами, балконами; покои высокие, просторные. Не то, что через двор матушкина хибарка, – убогая избушка на курьих ножках! Давно уж починки просит: крыша протекает, от окон, как из трубы, дует. Да где денег взять? А померет матушка (не дай Господи!), так и вдовья пенсия ее ухнет; останусь без гроша...

Правду говорит Варвара Аристарховна, что пора мне, пора тоже за ум взяться, свой хлеб добывать. Да чем? В приказные писцы идти, что ли, и весь век за гроши скрипеть пером?

Эхма! И стыдно-то, и смертельно скорбно. А роптать не моги. Сам же виноват. Переноси

покорно.

*Июня 13.* Вечор горе свое в слезах растворил; а ныне вновь влетело, и от кого? От своей же родительницы, а там и от протодьякона соборного, о. Захария.

Сидим мы с матушкой за трапезой обеденной, а она на меня, знай, поглядывает и «ох!» да «ох!».

– О чем, – говорю, – маменька, вздыхаете?

А она:

– Ох, болезный ты мой! Кабы премудрости семинарские, как должно, произошел, быть бы тебе раз добрым пастырем...

– Оставьте, – говорю. – Такое мне, знать, предопределение вышло.

Отодвинул тарелку и встал из-за стола. А маменька:

– Куда ж ты, миленький, и чаю-то не попивши?

Ничего не сказал, иду к двери. А навстречу о. Захарий.

– Я, – говорит, – вас, матушка Серафима Исидоровна, пришел проведать: как во вдовстве своем живете-можете?

Маменька благодарствует за великую честь, что не забыл ее, вдовицу, просит откупать чаю стаканчик, а сама уже платок к глазам. Вопросает тут о. протодьякон, о чем, мол, печалится.

– Да вот, – говорит, и пошла – сперва про собственную хворь свою, а там и обо мне, непутящем.

Озирает он меня искоса, словно медвежонка неприрученного, головой качает.

– Да что у паренька вашего, матушка, клепки одной разве в мозгу не хватает, скудоумен?

А маменька:

– Ай, нет, он у меня мозговитый...

– Так мало, знать, в бурсе лозами уму-разуму наставляли.

Тут и сам уже не выдержал.

– Каждую субботу нам, – говорю, – секции общие чинили.

– Да не по винам, – говорит. – И нас тоже во времена оны единожды в неделю наказывали и все во благо. В гробу одной ногой стою, а донесь тружусь, в поте лица моего снедаю хлеб свой.

Стал было я оправдываться, а он, не дослушав:

– Все сие, – говорит, – столь глупо, что уши вянут.

Маменька опять в слезы.

– Да нельзя ли его, о. протодьякон, хоть бы в причетники соборные поставить, а на дурной конец в пономари, что ли?

– Темна вода во облацех, – говорит, – еще не время, годами не вышел. Ну да уповайте на Бога; авось, еще сподобит.

И пошел. Маменька залилась еще пуще...

Вседержитель и Сердцеведец! Просвети меня: что мне делать, шалоброду?

*Июня 15.* Давно уж поговаривали, что император французский Наполеон Бонапарт на нас войной собирается, что и войска-то наши к границе прусской стянуты, что сам государь наш Александр Павлович со своим штабом в Вильне пребывает. Проходили чрез Смоленск наш полки за полками, иные и на постой уже поставлены, а все как-то не верилось. Гром не грянет – мужик не перекрестится.

И вот грянул! От государя курьер к губер-

натору прискакал. 12-го числа, вишь, французы, войны даже не объявивши, реку Неман перешли. Что за вероломство! Из Вильны ко всем нашим командирам гонцы полетели с приказом – самим в бой до времени не вступать, только отбиваться. Князю же Багратиону, что командует второю армиею, да славному казацкому атаману графу Платову повелено по мере сил и возможности задерживать неприятеля, дабы дать нашим отступить в порядке; дождемся поры, так и мы из норы. А самому Наполеону Бонапарту послано требование – немедля отозвать свои войска.

«Не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем», – сказано в государевом указе.

Да подчинится ли еще таковому требованию всемирный воитель, вознесшийся превыше всех человеческих тварей?

– Ни в коем разе не подчинится! – уверяет мосье Мулине.

Но сам он весьма озабочен, за своих будто оконфужен. Ведь как он обожает своего «великого» императора!

*Июля 1.* Две недели дневника не раскрывал. Баталии настоящей все еще не было. Войска, что ни день, чрез Смоленск наш проходят; но куда – никому не ведомо.

Обыватели, кто потрусливей, за город уже собираются: береженого и Бог бережет. Толбухины же, хоть бы и хотели, не могут тронуться: Аристарх Петрович все еще так слаб, что везти его в Толбуховку за тридцать верст по проселочным дорогам и разговору быть не может: по дороге, того и гляди, Богу душу отдаст.

А с мосье Мулине что-то неладное творится: выхожу за ворота, завернул за угол, а он, гляжу, за углом с евреем торгуется,

– Далибуг, никак не можно, мусье, – говорит еврей, – сто карбованцев, ни гроша меньше.

Узрели меня тут оба, к забору прижались.

– Сто рублей! – говорю. – За что он с вас, мосье Мулине, столько дерет?

– Идите, Андре, идите! – говорит. – Не ваше дело.

Ушел я; само собою, какое мне дело? Но почему он меня так испугался? Уж не замыслил

ли тихомолком к своим сбежать? Недаром эта пиявка к нему присосалась; последнее, может, сбережение у него высосет...

*Июля 3.* Так ведь и есть: сбежал! Толбухины весьма об нем жалеют: и гувернер-то, и учитель прекрасный, и человек милый, душевный. Как бы ему только на казачью пику не напороться!

# Глава вторая

*Прибытие в Смоленск императора Александра I. Генерал Балашов у Наполеона. Барклай-де-Толли, князь Багратион и поручик Шмелев. «Стонет сизый голубочек». Обручились! Отъезд Толбухиных*

Июля 9. Видел ныне самого государя. С раннего утра еще мы с Петей Толбухиным забрались к казенному «императорскому» дому, нарочито приготовленному для приема царского. Народу, разумеется, тьма тьмущая. Ровно в 11 слышим издали:

– Ура! Ура!

И вот показалась государева коляска. Тут уже вся толпа кругом подхватила, как один человек, и мы с Петей тоже:

– Ура-а-а!

По портретам я давно его уже знал; но самого воочию лицезреть – совсем иное. Когда нам всем милостиво этак головой закивал, от его улыбки, ласковой и грустной, сердце у меня так и запрыгало, да и заныло.

«О, кабы теперь же некий подвиг отчизно-

любия совершить!» – подумалось мне. От восторга и жалости бросился бы, право, под колеса его экипажа, если б сим чуточку хоть мог облегчить ему бремя забот о его народе, о дорогой нам всем России.

Нашему губернскому предводителю, майору Лесли, выпало счастье доложить государю, что смоленское дворянство на свой кошт ополчение в 20.000 ратников выставляет. После приема был еще смотр войскам с церемониальным маршем, а после обеда государь в Москву уже отбыл, где объявил манифест о вооружении всего государства. Но и до сей еще минуты видится мне его столь скорбная и добрая улыбка...

*Июля 10.* Чиновник губернаторской канцелярии рассказывал Толбухиным, а Петя потом мне пересказал, что государь еще из Вильны посылал своего генерал-адъютанта Балашова с письмом к Наполеону. И что же? Вместо того, чтобы сего парламентаря принять с подобающим почетом, четыре дня его водили от маршала к маршалу, как бы за нос, кормили всякою дрянью и тогда лишь допу-



стили пред ясные очи своего повелителя.

В письме том говорилось, что государь не прочь, пожалуй, еще войти в соглашение о



прекращении военных действий, но с тем, чтобы сперва французские войска за Неман отошли.

– А если не отойдут? – спросил Наполеон.

– Если нет, – отвечал Балашов, – то я уполномочен заявить вашему величеству, что царь ни сам уже не замолвит, ни от вас не примет ни единого слова о мире, доколе один хоть вооруженный француз будет еще в России.

– Вот как! Ну, а я что раз занял, то считаю уже своим. Так вашему царю и передайте. Я

его люблю и уважаю, как брата. Поссорили нас англичане. И что ему, скажите, делать при своей армии? Его дело царствовать, а не воевать. Мое дело другое: я – солдат, это мое ремесло. Да и войска у него вдвое меньше. Как же ему защитить от меня на всем протяжении границу своего обширного царства?

Говорит он так, говорит, а сам ходит из угла в угол, точно покою себе не находит. Однако позвал Балашова обедать. А за обедом о Москве речь завел, точно и Москве от него уж не уйти.

– Деревня ведь это, – говорит, – большая деревня! И на что у вас там столько церквей? В нашем веке набожных людей уже нет.

До чего ведь договорился! Гордыня обуяла. А Балашову, православному человеку, за великую обиду показалось.

– Не знаю, – говорит, – ваше величество, как у вас во Франции; там, может, страху Божьего уже не стало; у нас на Руси Богу еще молятся.

Отбрил чище бритвы! Однако же ни к чему; отпустили его ни с чем.

*Июля 20.* Пока Багратион да Платов задерживают Наполеона, Барклай-де-Толли все вспять да вспять, а ныне вот и наш Смоленск своей первой армией наводнил. В хижинку к нам на постой тоже 10 человек с фельдфебелем поставлено. Для других 10-ти человек, с офицером, поручиком Шмелевым, Толбухины свой надворный флигель отвели.

Под Островной близ Витебска завязалось, говорят, уже жаркое дело. Наши лейб-гусары и драгуны дрались с авангардом неприятеля, дрались храбро, отчаянно, а в конце концов, сказать зазорно, были все же разбиты, потеряли даже 6 пушек... Да, воевать и впрямь, видно, ремесло Наполеона, сего Аттилы XIX века!

А промеж Барклая и Багратиона вдобавок, слышь, еще нелады идут...

*Июля 21.* Слава Богу, помирились. Багратион для сего сам сюда в Смоленск прибыл. Мы с Петей выжидали его выхода у губернаторского дома. Оба главнокомандующие вместе рука об руку на крыльцо вышли. Тут Багратион окинул нас, зевак, огненным взглядом.



– Завтра, значит – говорит Барклаю – опять свидимся.

Вскочил в коляску и укатил – только пыль

взвилась.

– Этот-то не выдаст! – говорили кругом. – И нос крючком, как у орла, и взор орлиный – прямой орел!

*Июля 22.* За ночь и Багратионова армия подошла. У Барклая тоже словно крылья выросли.

«Ни при каких обстоятельствах не отступлю уже от Смоленска» – собственные слова его.

Дай-то Бог!

По случаю тезоименитства императрицы-матери с утра со всех колоколен колокола гудят. А после обедни народное гулянье, на площадях полковая музыка гремит, по улицам солдаты ходят, песнями заливаются. Точно войны и не бывало, Наполеона ни у кого и в помине нет.

*Июля 25.* А поручик-то Шмелев у Толбухиных уже свой человек: у них столуется, с Варварой Аристарховной по саду разгуливает. Пускай! Мне что? А все же, признаться, ретивое нет-нет да и заноеет...



*Июля 31.* Что-то у них будто налаживается. По часам все вместе: то книжку он ей читает, то горячо спорят, потом опять смеются. А вве-

черу, слышу, на фортепьянах забренчали (с болезни Аристарха Петровича впервые, ибо со вчерашнего ему намного легче). Поручик романс поет:

*Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь:  
Его миленький дружочек  
Улетел далеко прочь.*

Пропел куплет – и умолк. Неспроста!

Августа 2. Так и чуял: обручились! Прибегает Петя:

– А знаешь ли, – говорит, – что я подглядел?

– Ну?

– Только по секрету, Андрюша!

– Да в чем дело-то?

– Варенька с Дмитрием Кириллычем кольцами обменялись. Папенька и маменька ничего еще не знают. Так и ты пока молчи.

– Хорошо, – говорю, – хорошо...

А у самого в груди точно что порвалось.

Ну что ж, дай им Господи! Жених как жених, все же гвардии поручик; раз – и до генерала дослужится. А я что? Недоучка, балбес,

мизинца его не стою.

*Августа 3.* Зашевелились французы: у архиерейского двора – всего 7 верст отсюда – перестрелка с авангардом. Не нынче завтра подойдут и к Смоленску. Жителям предложено выбираться подобру-поздорову. По улицам возы потянулись. И Толбухины решились-таки в деревню перебраться; на дворе возы нагружают. Сами поутру двинутся. Боятся только, как-то еще Аристарх Петрович переезд выдержит.

*Августа 4.* Уехали и маменьку мою с собой забрали. Упиралась спервоначалу:

– Как, мол, я Андрюшу моего одного здесь на погибель оставлю?

Варвара Аристарховна успокаивает:

– Да с чего ему погибать-то? Будь он еще военный. Ничего ему не сделают.

– А присмотреть в доме, – говорю, – все-таки кому-нибудь надо, чтобы не разграбили.

– Грабить-то у нас, пожалуй, нечего... – говорит маменька.

– Тем паче, значит. А взглянуть мне на это-

го Наполеона, маменька, куда как любопытно!

– Потом и нам про него расскажет, – говорит Варвара Аристарховна. – Кстати, Андрюша, ты ведь дневник пишешь?

– Пишу...

– Так все, смотри, описывай, что бы ни было: дашь потом прочесть. Особливо же...

Тут она запнулась, покраснела и огляделась на маменьку.

– После скажу тебе.

И вот, когда другие в карету уже сели, она вдруг быстро ко мне подходит, а у самой щеки и уши так и горят.

– Тихоныч здесь хоть и остается, – говорит мне шепотом, – но надежда на старика плохая. Если б Дмитрию Кириллычу что понадобилось, так ты, Андрюша, пожалуйста, уж пригляди, постарайся...

– Постараюсь, – говорю.

– И дневник свой смотри не забывай.

И вот их уже нет!

А в гостиной на фортепьянах он опять бренчит, заунывно распевает «Стонет сизый голубочек...»

И слышать не могу! Пройдусь-ка по улице...

# Глава третья

*Смоленск в огне. Русские отступают*

*Августа 5.*

*Не медь ли в чреве Этны ржет  
И, с серою кипя, клокочет?  
Не ад ли тяжки узы рвет  
И челюсти разинуть хочет?*

Ломоносова муза пророческим оком словно предвидела наши здешние ужасы.

Вовремя же убрались Толбухины! И за маменьку трепетать уже нечего.

Началось еще вчера, скоро после их отъезда. Подходили французы сразу с трех сторон; думали город штурмом взять. Ан с крепостных стен им чугунную хлеб-соль поднесли; а генерал Раевский из ворот навстречу к ним вышел с батальным огнем да в штыки, за ров крепостной погнал, весь ров и гласис телами их усеял.

Но с вечера и за ночь подходили все новые полчища, весь Старый город до Днепра как кольцом обложили. Сыплются на них ядра и с

городских-то батарей, и с того берега Днепра, куда стянулись наши главные силы. А они лопаются уже в Молоховские и Никольские ворота. Наполеону же не терпится, решил зажечь город – дома-то все больше ведь деревянные; и взвились над городом гранаты, лопаются в воздухе, и загорается то там то сям; ветром пламя с крыши на крышу переносит. Бывало, бежишь поглазеть на пожар, как на некое зрелище, а теперь, как кругом запылало, – не то: ад да и только.

Перекинуло и на нашу улицу. Люди мечутся, как угорелые, ревом ревут:

– Отцы наши, батюшки! Воды, воды!

А где ее взять? Пока еще до реки доберешься, от всего строения одни головешки останутся. И я спасать помогаю, схватил в охапку первое, что под руку попало. Тут кличет меня, слышу, Тихоныч:

– Андрей Степанович! Где ты? И у тебя ведь занялось.

С нами крестная сила! И то ведь на крыше у нас уже язычки огненные. А помогать мне, oprичь старика Тихоныча, некому: солдаты-постояльцы все у городских стен, кровь

свою за нас проливают. Вынесли мы образа, забрали кое-что из платья, посуды; захватил я и дневник свой; а огонь уже стены лижет, волосы мне на голове спалил... Не прошло и получаса времени, как домишка нашего как не бывало.

– Бог дал – Бог и взял! – утешает Тихонич. – Буди Его святая воля! Прибежище у нас для тебя найдется. Дом каменный, крыша железная – огня не боится.

А погода весь день чудная, солнечная, на небе ни облачка. Жители же, крова последнего лишившись, бегут из города, бегут без оглядки, на ту сторону Днепра.

Поручик Шмелев домой только на минутку забежал, весь черный от порохового дыму.

– Что, Дмитрий Кириллыч, – говорит, – Бог миловал. Но раненых не счесть; доктора перевязывать не успевают.

– Но французы нас не одолевают? Еще держимся?

– Держимся крепко. В 8 часов ко всеобщей ударили.

– А завтра-то ведь великий праздник – Преображение Господне! – говорит Тихонич. –



Весь дом свой господа мне препоручили; так отлучиться не смею. Иди же ты, милый, помолись за наших воинов: многим из них придется пить смертную чашу.

Бежали из города народу хоть и тысячи, но в собор стеклось еще многое множество, молились все истово, с плачем и воздыханием; а в крестном ходе вокруг собора с иконой чудотворной Смоленской Божией Матери и сам я тоже фонарь нес.

Только дописал, лечь собираюсь, как слышу Шмелева, зовет денщика:

– Собирай вещи, да живо, живо! Уходим.  
Выскочил я к нему.

– Как уходите, Дмитрий Кириллыч? Сами давеча говорили, что держимся крепко?

Плюнул с досады.

– У ж не говорите! Все эта немчура проклятая...

– Кто? Барклай-де-Толли?

– Ну да. Главнокомандующий! Ну и слушайся его.

– Да ведь и Багратион – такой же главнокомандующий?

– Такой, да не такой. У каждого своя армия, но Барклай вдобавок и военный министр, так в бою у него решающий голос. А какой уж он боевой генерал! Чиновник, управлять войском умеет только на бумаге; отдал приказ – и дело, думает, в шляпе.

– Да не сам ли он уверял, что ни при каких обстоятельствах не отступит?

Не вытерпел тут и денщик:

– Осмелюсь доложить, ваше благородие, – говорит, – солдаты наши тоже уже ропщут, что все отступаем.

– Тебя не спрашивают! – строго заметил ему Шмелев. – Пошел вон!

– Слушаю-с.

И вышел вон.

– Простите, Дмитрий Кириллыч, – говорю я Шмелеву. – Но, уклоняясь от боя, Барклай и то ведь против государя и всего войска якобы изменник?

– Изменник он или не изменник, а малодушествует... По-своему он, пожалуй, даже и прав: армия Наполеонова вдвое нашей сильнее, а сам Наполеон в военном искусстве против него исполин.

– Но солдаты, вы слышите, уже ропщут...

– И мы, офицеры, ропщем, но – дисциплина. Приказано отступить – и отступаем. Генерал Дохтуров будет еще сдерживать их натиск, чтобы нам уйти в порядке и увезти с собой наших раненых. А чудотворный образ Богоматери Смоленской будет нам сопутствовать: батарея рота полковника Глухова ее в свой зарядный ящик уложила...

# Глава четвертая

## *Въезд Наполеона. Сержант и лейтенант*

Августа 6. Не раздеваясь, спал как убитый. И то бы еще не проснулся, кабы не Тихоныч: растолкал меня.

– Вставай-ка, сударик, вставай! Французы сейчас быть должны. Наше войско все еще за Днепром; мост за собой разрушило; а уездный предводитель в карете к Никольским воротам поехал – ключи городские Бонапарту сдать.

– Уездный? – говорю. – А губернский-то что же?

– Тот с губернатором вечер еще, слышь, за город убрался. Быть худу! Быть худу! Чу! Музыка трубная, барабаны... В город, значит, уже победителями вступают. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Я же, нимало не ужаснувшись, с гвоздя картуз – и на улицу. Что с меня возьмут?

По пожарищу еще дымится, погорельцы бродят. А военные трубы и барабаны от Никольских ворот все ближе, ближе. Завернул

за угол, а навстречу верхами трубачи-кирасиры в стальных латах, в шлемах с конскими хвостами. За трубачами на лихом аргамаке молодой генерал, высокий, статный, локоны по плечи, треуголка с золотым позументом, с плюмажем, плащ коротенький, зеленый, панталоны брусничные, чулки синие. По сторонам весело озирается: смотрите, мол, люди добрые, какой я хват! – После узнал, что было то Мюрат, король неаполитанский. За ним целый полк кирасир, такие же все чистенькие, нарядные, точно в огне не побывали, на парад собрались.

За кирасирами – гренадеры-великаны, молодец к молодцу, в мохнатых медвежьих шапках, а за ними на белоснежном коне сам Наполеон Бонапарт с генералитетом. Генералы в блестящих мундирах и шляпах, а он в простой лишь треуголочке, в сером сюртуке дорожном; ростом не вышел, но с брюшком. Зато собой красавец писанный, взор грозный, язвительный, осанка величавая, поистине царская.

«Не поклонюсь тебе, – думаю, – не жди!»

Но как глянул он в мою сторону – дух у ме-

ня заняло, картуз сам собой с головы сорвался; а он чуть-чуть только в ответ кивнул. С миром, значит, отпустил.

Тут уже всякие войска потянулись, и конца не видать.

Вернулся я домой не раньше, как всех мимо пропустил; а французы-то в доме, как у себя, хозяйничают. Тихоныч, из окна меня углядев, на крыльцо ко мне выскочил.

– И где это ты, – говорит, – пропадал, милага? Думал, что тебя и на свете уж нет. По комнатам, каторжные, рыщут, в барышнину спальню порывались. Да как бы не так! На ключ запер; но разговорных слов их не знаю. Объяснись с их набольшим, сделай милость, – полковник, что ли, или унтер – шут его знает!

Пошел я объясняться. Оказалось, сержант, по фамилии Мушерон, видный, бравый. Тоже обрадовался, что есть с кем столковаться.

– Э! – говорит, – Да вы понимаете хоть по-нашему. С этим старикашкой никакого толку не добьешься.

– Что вам, – говорю, – угодно?

– Мы к вам, мон шер, издалека в гости при-

шли; а гостей кормят и поят. Чем нас угостите?

Перевел я Тихонычу; он на дыбы.

– Доброй волей не дадим, – говорю, – так без спросу ведь возьмут. В кладовой да на леднике, верно, запасы еще найдутся?

– Как не найтись...

– А в погребе, слышал я, всегда вина имелись. С собой ведь в деревню всех не взяли?

– Ну нет, шалишь, – говорит, – вина дорогие, виноградные, заморские...

– То как раз, что им и нужно: привыкли у себя дома виноградным вином еду запивать.

Закряхтел мой старикашка, заохал, а делать нечего – сдался.

– Умываю, – говорит, – руце в неповинных.

Принес муки, круп разных, яиц, масла; потом и полдюжины бутылок. А сами гости тем часом на дворе и индюка изловили. Нашелся меж них и повар, развел под плитой огонь, давай орудовать. Долго ли, коротко ли пошел у них пир горой, крики, песни. В подпитии и меня к себе зовут, в маленького гражданина – пти буржуа – окрестили:

– Эй, пти буржуа! Иди-ка сюда, садись к нам.

Полный стакан подносят. Я отказываюсь: капли вина в рот никогда, мол, не брал. А они:

– Стыдись! Вон каким дылдой вырос, а вина еще не пробовал. Пей, сакр-Дие, коли нали-то! Не то ведь силой в глотку нальем.

Взял, пригубил.

– Ну, а теперь кричи: «Да здравствует император!».

Но я дерзновенно в ответ:

– За какого императора? За своего всероссийского? Извольте.

Как заорут тут все, затопают на меня! Но сержант Мушерон заступился:

– У него, братцы, пока что, еще свой император; неволить не годится.

Оставили меня за сим в покое. Сижу среди них, уши наострил: вино язык им верно развяжет; в вине правда – *in vino veritas* – говорили еще латынцы.

– Здесь в Смоленске и кампанию бы нам закончить, – молвил один. – Как из Пруссии вышли, чего-чего не натерпелись!

– Да, уж эти русские – подлинные варвары, – говорит другой, – и дома-то свои жгут, и запасы. Ни фуража, ни продовольствия. А мародерствовать начальство не позволяет: Даву скольких уже расстрелял.

– Оттого у него и дисциплина образцовая, – говорит сержант. – Из всех маршалов Даву как-никак все же первый. Недаром император ему и 1-й корпус вверил: люди отборные, в походах закаленные, у пирамид в Египте побывали.

Так перебрали они по пальцам всех своих маршалов: пасынка Наполеонова Евгения Богарне, Мюра-та неаполитанского, Жерома вестфальского... Тут один как расхохочется:

– Ну, уж эти вестфальцы!

– А что?

– Как казак-то с одним их лейтенантом разделался!

– На пику посадил?

– Хуже того.

– Чего уж хуже!

– Нагайкой отхлестал.

– Ври больше!

– От верного человека слышал.



– Да как же это быть могло?

– А так, что эти дьяволы-казаки на вестфальцев налетели. Те в каре и дали залп. Казаки как налетели, так и отлетели. Один только, как ни в чем не бывало, отъезжает шагом, трубочку себе еще набивает. Вот и загорелось молодому лейтенанту отличиться – захватить в плен казака. Поскакал за ним, саблюю храбро этак машет. Казак же коня разом повернул да на вестфальца с пикой. Вестфалец саблей хватить – пика пополам. «Сдавайся!» кричит. Но казак мигом его обскакал, да и давай жарить плеткой, пока тот с седла замертво не скатился...

Сему анекдоту все весьма рассмеялись:

– Ай да казак!

Вестфальцы ведь те же немцы, а французы и немцы, известно, что кошка да собака, враги исконные.

Болтают так меж собой наши новые хозяйки, как вдруг в дверях офицер:

– Это что еще за вольности? Сержант Мушерон! За Днепром кровь ручьями льется, а у вас здесь...

Мушерон навытяжку, честь отдает.

– А у нас, господин лейтенант, вино льется, только не ручьями, а ручейком: полдюжины всего из погреба на пробу взяли, подойдет ли для стола г-на лейтенанта?

Улыбнулся.

– Ну и что же?

– О! Марки преотменные: старого разлива бордо, лафит, икем. Жила преизобильная; порыться глубже, так забьет и шампанское.

– Хорошо; но то уже не про вас. А комната для меня приготовлена?

– Да вот здешний метрдотель от одной комнаты ключа ни за что не дает, а та комната, я чаю, как раз подошла бы г-ну лейтенанту.

– Чья же то комната?

– Молодой, говорит, барышни, хозяйской дочки.

– Взять у него ключ!

Шутить с ним, вижу, не приходится. Побежал за Тихоным, отобрал у него ключ. Отпер. Не комната – игрушка.

– Премило, – говорит лейтенант.

На столе книжка. Подошел, раскрыл.

– «Поль и Виржини». Гм... Чиста еще, как ангел. Не станем же нарушать ее святилища. Заприте и ключ отдайте опять метрдотелю.

Сказал и вышел. Деликатность поистине французская! А я, грешный человек, был не столь деликатен: из книжки на пол бисерная закладка выпала; поднял ее и – в карман. Сама ведь, верно, вышила. Хоть что-нибудь от нее на память!

# Глава пятая

*Мосье Мулине на носилках. Во французском госпитале. Про подвиг графа Понятовскаго. Доктора: барон Ларрей и де ла Флиз. «Где стол был яств, там гроб стоит»*

Августа 7. К трем часам утра неприятели сломанный на Днестре мост починили, а несколько верст выше другой мост еще наводят, дабы русскому арьергарду отрезать наступление. Издали слышна неумолчная пальба: идет, значит, упорный бой. А здешние наши постояльцы и ухом не ведут. Гвардия! Разыскал сержант Мушерон в погребе для своего лейтенанта и шампанское; тот приятелей офицеров зазвал; до глубокой ночи пировали. Нижние чины тоже устроились, как в мирном лагере: кто амуницию чинит, кто ружье чистит, кто чулок штопает; мухи, кажись, не обидят.

И вдруг – не сонное ли видение? Вносят раненого на носилках, и кого же? Толбухинского гувернера, мосье Мулине! Увидал меня – простирает руки.

– О, мой дорогой Андре! Вы-то еще здесь! А у меня бомбой оторвало ногу.

Отнесли беднягу во флигель, в прежнюю его комнату. Пришел тут к нему понаведаться и лейтенант-постоялец, рекомендуется:

– Лейтенант д’Орвиль. Чем могу служить? Вы ведь тоже офицер великой армии?

А Мулине:

– Был таковым 12 лет назад. При Маренго, в чине корнета, ранен в грудь навывлет; из собственных рук императора – тогда еще первого консула – ордена Почетного легиона удостоился. О! Он умеет ценить заслуги. Но одно легкое у меня было прострелено: пришлось подать в отставку. Стал учительствовать... Надо же чем-нибудь прокормиться! Так гувернером и в Россию попал к достойному семейству...

– Но когда слышали теперь военные трубы обожаемого вашего императора, то не выдержали?..

– Да, помчался на призыв, как боевой конь. И вот – безногий инвалид! В госпитале перевязали; но я просил перенести меня сюда. Коли умирать, так в родном доме; а дом господ

Толбухиных стал для меня все равно что родной.

*Августа 8.* Бедный мосье Мулине от адских мучений всю ночь глаз не сомкнул. Не жалуется, а тихонько только этак стонет. Вечеру еще послали в госпиталь за доктором, чтобы снова перевязал рану. Обещал быть, да так и не прибыл: забыл, что ли.

«Дай-ка, – думаю, – напомним».

Пошел. Под госпиталь свой французы заняли дом губернатора; каменный он, так уцелел от огня.

Прихожу, спрашиваю хирурга.

– Да вам какого?

– А кто у вас главный?

– Главный – барон Ларрей, его величества генерал-штаб-доктор.

– Его-то мне и нужно. Проведите меня к нему.

– Простите, он на операции.

– Так я обожду.

– Да вы-то сами от кого?

– От раненого французского офицера.

– На частной квартире?

– На частной. Вчера его здесь уже перевязали; обещали прислать вечером хирурга, да вот не прислали.

– Прошу за мною.

Поднялись во второй этаж. Идем палатами.

– Обождите тут.

А кругом раненые лежат вповалку. У кого голова забинтована, кто без руки, кто без ноги, а кто и без обеих ног. И все-то больше молодой еще народ.

Одни молчат, временами только охают, стонут; другие разговор ведут. Громче всех, зазорнее один – и по виду, и по говору не француз.

– Что, – говорит, – все ваши маршалы! Один наш Понятовский всех их стоит. Нации храбрее нашей нет. Сам Наполеон ваш это признает.

А французов за живое задело.

– Ну да! – говорят. – Ваша шляхта – известные хвастуны. Чем вы в этой кампании отличились, ну-ка?

– Да хоть бы и тем, что пока вы на Немане понтонные мосты наводили, наша кавалерия

уже вплавь пустилась.

– И без всякой нужды перетопила сорок человек!

– Что ж такое? Зато император нас как расхвалил! А здесь, под Смоленском, он нас же первыми в атаку послал: «Поляки! Этот город принадлежит вам!»

Что дальше говорилось – я уже не слышал: меня провели в уборную, куда барон Ларрей должен был выйти после операции – руки мыть.

Наконец-то операция кончена. Входит сам Ларрей, седой уже, преважный, в генеральских эполетах, но в белом фартуке, с засученными рукавами. Фартук весь кровью забрызган, руки в крови.

Фельдшер вослед бежит, воду на руки ему наливает. А барон про себя брюзжит, ругательски ругается:

– Уж это анафемское интендантство! Черт бы его подрал! Ни бинтов, ни полотенец, ни корпии... Справляйся, как знаешь! Ни в итальянскую кампанию, ни в австрийскую ничего подобного не было.

– Смею доложить г-ну барону, – говорит

фельдшер, – ни в Италии, ни в Австрии жители своих городов не жгли.

– И мы гранатами их домов не поджигали!

– Точно так. Но Россия – страна варварская. И хлеба не допросишься. Хоть бы тут, в Смоленске. Большой ведь город, и лавки есть еще не сожженные, да с чем? С железным товаром, с посудой, хомутами и дегтем; а булочные заколочены, мясные пусты...

– Ну вот, ну вот! Что же я говорю? Прежде чем воевать, надо изучить страну, принять меры. Так нет же, ради военной своей славы, опустошаем целый край, разоряем тысячи людей, ни в чем не повинных, свое собственное войско заставляем голодать да требуем от него еще геройских подвигов...

Тут только он заметил меня.

– Вы кто такой? Как сюда попали?

Я объяснил.

– Гм... Самому мне уйти никак невозможно...

– Не позвать ли мне г-на де ла Флиза? – говорит фельдшер.

– Позовите.

И так-то вот помощник Ларрея, доктор де

ла Флиз пошел со мной.

Как обмыл он мосье Мулине рану, перевязал – я за ним в переднюю.

– Что, г-н доктор, не очень опасно?

– Ни за какую ампутацию, – говорит, – отвечать врач не может, особенно когда рана запущена.

А кто же запустил?

*Августа 9.* Полночи у нашего больного просидел Тихоныч; в 5 часов утра я его сменил. Сперва бедный метался, бредил; потом крепко заснул. Проснулся уже в 10-м часу, когда наведать его пришел лейтенант д'Орвиль.

– Ну что, дорогой мой, – говорит лейтенант, – как себя чувствуете?

А Мулине:

– Не во мне уж дело. Бude и выживу, то останусь все-таки навек инвалидом: моя песня спета. А что, скажите, русские все еще отступают?

– Отступают, но отбиваются. Вчера была опять отчаянная схватка: из строя у нас вышло 6.000...

– А здесь при штурме города 12.000!

– Да, потери крупные. Император после вчерашнего боя сам нарочно на место выехал и вернулся крайне разгневанный: Жюно опоздал подать помощь Нею, а опоздал потому, что в болоте завяз.

– Сказать между нами, г-н лейтенант, боюсь я за нашу французскую армию, сильно боюсь. Император наш не считается с здешним климатом, с здешними дорогами. Наступит осень, польют дожди – дороги, и так уже плохие, станут непроходимыми; а там снег, лютые морозы...

– Ну, с этими дикарями мы справимся еще до морозов. Армия у нас громадная – 650.000 при 200.000 конях и 1.300 орудиях...

– Но на такую громаду и запасы нужны громадные; а ни провианта, ни фуража уже не хватает?

– Так-то так...

– Барклай-де-Толли – лукавый немец, нарочно увлекает императора в глубь страны, это может окончиться весьма печально!

– Да не самому же императору, великому Наполеону, первому предлагать мир! Бертье и то уже советовал ему начать переговоры.

– А он что же?

– Я не прочь, говорит, помириться. Но для заключения мира мало одного, нужны двое. Теперь же, когда во всех русских газетах напечатано воззвание царя к своему народу – он покоя себе уже не находит; клянёт и турецкого султана, что помирился с царем, и короля шведского Бернадота, что вступил с ним в союз: «О, глупцы, глупцы! Они дорого поплатятся за это!»

А я слушаю обоих да на ус себе мотаю: «А ведь Барклай-то, пожалуй, и взаправду готовит им ловушку! Недаром говорится, что немец обезьяну выдумал».

*Августа 10.*

*Где стол был яств, там гроб стоит,  
Где пиршество раздавались лики,  
Надгробные там воют клики,  
И бледна смерть на всех глядит...*

Бедный, бедный мосье Мулине! Вчера вечером еще доктор де ла Флиз вышел от него хмурый-прехмурый. «Плохо!» – думаю. А к утру аминь: антонов огонь! В столовой, на

том самом столе, за которым земляки его на-медни пировали, лежал он в гробу, с своим орденом Почетного легиона на груди, весь в цветах: мы с Тихонычем опустошили для него весь цветник в саду. А лейтенант д'Орвиль еще полковую музыку привел, чтобы и до могилы проводить его со всеми «онерами». Да будет легка тебе земля, милый человек!

# Глава шестая

*На походе. Шевардинский редут. Воззвание Наполеона*

*На привале, августа 13.* Вот где довелось за дневник опять приняться! Хоть и сон клонит, устал шибко, а надо ж самое главное занести.

Приходит ко мне третьего дня Мушерон.

– Ну, пти буржуа, собирайся-ка в путь-дорогу.

– Куда? – говорю.

– В Москву.

– В Москву! Вы шутите, г-н сержант.

– Какие уж шутки! Вся гвардия с самим императором сейчас выступает. А тебя лейтенант берет с собой переводчиком.

Вот не думал, не гадал – в Москву попасть, в наш град первопрестольный! Вождеденный случай, о коем мечтал и денно и ношно. Кабы маменька-то про то знала-ведала! Да доберемся ли еще? Нет, русские не отдадут Москвы-матушки! И куда занесет еще меня театр войны? Быть может, приближаюсь к вратам смертным... Но, пока что взираю на все рав-

нодушно. Не ратный ведь человек; так что может со мною приключиться?

А этакий поход – дело, ох куда нелегкое! С раннего утра до позднего вечера все вперед да вперед. Днем жарища нестерпимая.

– Та же Италия! – жалуются французы. – Хуже Италии – пекло адское!

От пехоты да от конских копыт пыль облаком, глаза ест, в нос и глотку забивается. А тебя, без вкушения хлеба и воды, все вперед гонят:

– Марше! марше!

Попадается речка, ручеек; промочил бы горло, ан нет:

– Чего стал? Марше!

Наконец-то привал – слава Тебе, Господи! Уляжешься в лесу у костра; да леса-то все сосновые, болотистые, комариное царство: жужжат проклятые, как рой пчелиный, кусаются что собаки.

...Не дописал, как Мушерон тетрадь из-под рук вырвал:

– Это что у тебя?

– Дневник.

– Эге! Г-н лейтенант!

Подошел д'Орвиль:

– А что?

– Не угодно ли поглядеть: наш пти буржуа дневник ведет. Не шпионом ли уж к нам приставлен?

Рассмеялся тот:

– Да не сами ли мы его с собой забрали? И что он в нашем военном деле смыслит?

– Так пускай вам прочитает что сейчас написал.

– Извольте, – говорю, – по-русски прочитать или перевести?

– Само собой, перевести.

Перевел я им страницу, другую.

– Ну что Мушерон? – говорит лейтенант. – Похоже на донос шпиона?

– А вот пускай-ка с первой страницы прочитает.

Начал я с первой страницы про то, как мосье Мулине совет мне дает дневник писать, дабы облегчить сердце. Как они оба расхохотутся!

– Пишите себе, пишите, молодой человек, – говорит лейтенант, – облегчайте свое сердце.

*Августа 17.* Мы уже под Вязьмой. На каждом верстовом столбе цифры читаем: далеко ли еще до Москвы? Нас, гвардию свою, Наполеон бережет, не пускает нас в огонь. Но авангарду тяжело приходится: дорога наша устлана мертвыми телами, а Дорогобуж, Вязьма и все деревушки выжжены дотла. По-прежнему, пуще прежнего нас голод-жажда прониимает. От каждого полка фуражиры по окрестностям рыщут, но возвращаются редко с чем: жители везде разбежались, а запасы сожгли или с собой унесли. Картофель-то хоть не снят еще с полей; так солдаты им ранцы свои набивают, а потом на кострах пекут да с палой кониной уплетают. И я тоже – в татарина обратился! Но мясо препротивное: жестко и жилисто. Только сердце да печенка мягче и вкуснее. Да нам-то редко когда перепадает: для офицеров отбирают.

*Августа 20.* Вот мы и в Гжатске. Живое кладбище! Подобрали здесь одного русского тяжелораненого. Стали его чрез меня расспрашивать, выведывать.

А он:

– Прибыл Кутузов – бить вас, французов...

– Как? Что? Князь Кутузов, сподвижник Суворова?

– Он самый: сменил немца Баркляя. До Москвы еще расправится с вами по-суворовски.

Озадачились, призадумались. До Москвы-то ведь еще 147 верст; задержать сколько раз может!

*Августа 24.* По сказанному как по писаному: Кутузов остановился, загородил нам – сирень французской армии – путь к Москве. Отделяют нас от русских глубокие овраги. За оврагами в долине и кругом на высотах вся русская армия.

Вдали налево белеет сельская церковь: то – село Бородино, занятое тоже русскими. Направо – село Шевардино; перед ним русскими же «редут» возведен – крепостца со рвом и валом, а на валу – пушки.

На душе у французов и радостно, и жутко: бранят Кутузова.

– Ишь, чертов кум, какую позицию вы-

брал!

Сам Наполеон не раз на холм выезжал – в зрительную трубу обозреть будущее поле сражения; потом в палатке у себя на карте обозначал расположение своих и русских войск булавками с разноцветными головками.

...С вечера уже началось; но это, говорят, только генеральная проба. Дабы лучше выяснить силы русских, Наполеон двинул через овраг колонны пехоты на Шевардинский редут. Пущей храбрости ради напоил еще допьяна солдат. И точно, пошли те храбро с барабанным боем.

Да не тут-то было! Огорошили их с редута картечью, и побежали они вспять. Первый блин да комом. Решили взять редут во что бы то ни стало. Идет целый полк, потом другой, потом еще удальцы-поляки, и все тоже: бегут назад! А за бегущими вдогонку русские кирасиры; ворвались в польский лагерь и увезли семь орудий. То-то, чай, осерчал Понятовский! Про Наполеона и говорить нечего.



Стемнело. Но оставить дела так нельзя. Новый штурм. И вдруг – что за притча? Ни единого выстрела. Взлезают на редут – ни души. Русские в темноте его очистили! Точно в насмешку: на тебе, небоже, что нам уже не гоже.



Панорама сражения при Ватерлоо, 1815 г.  
Художник: Жюль-Эдмон Лепеллетьер

Августа 25. Сегодня погода хмурится. Прогладно. Порой моросит. Дабы подбодрить мерзнущих, велено всем полкам раздавать водку. Но на всех не хватило: обозы некоторых полков где-то застряли.

Сражения нынче, кажись, еще не будет. Была только с утра слабая перестрелка. А теперь в обоих лагерях зловещая тишина – тишина перед бурей. Но и там, и здесь готовятся к бою: роют окопы, возводят редуты, устанавливают орудия... Вчуже дрожь пробирает!

Вот из русского лагеря доносится молебное пение.

«Что бы это значило?» – дивятся французы.



Невдомек им, что люди православные перед боем к Богу молитву воссылают. Тогда лишь поняли, когда адъютант с холма прискакал с докладом, что у «неприятеля» по всему лагерью, от полка к полку, попы шествуют с хоругвями и иконой, перед коей солдаты, сняв кивера, ниц падают. Не иначе, как наша же Смоленская икона Божьей Матери. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

А тут, у французов, заместо того сбор бьют, перед каждым полком читают воззвание На-



полеона:

«Солдаты! Сражение близко, которого вы столь желали. Победа зависит от вас самих. Она даст вам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение на родину. Отличитесь же и здесь, как отличились при Аустерлице, при Фридланде, Витебске, Смоленске, – и самое отдаленное потомство будет говорить еще о ваших подвигах. Да скажут о каждом из вас: “и он был тоже в великой битве под стенами Москвы!”»

После сего воззвания все кругом вострепнулись, возликовали. По всему лагерю музыка, песни. Только и слышишь:

– Да здравствует император!

А у меня сердце захолонуло: что-то будет?..

Неужто в самом деле?.. Додумать не смею...

# Глава седьмая

*«Солнце Аустерлица» в пороховом дыму. Нога лейтенанта д'Орвиля и рука солдата. Лошадь д'Орвилл и палец маркитантки. «Что за день! Что за день!»*

Можайск, августа 28. Третий день ведь уж от великой баталии под Бородиным, коей равной по кровопролитию, говорит лейтенант д'Орвиль, не запомнят в истории ни в древней, ни в новой – а теперь лишь улучил минутку взяться за дневник. Русские опять ретируются, но в полном порядке, по собственной же охоте. Похвалиться их разгромом Наполеон отнюдь не может. Благодарение и хвала Создателю во святой Троице!

Опишу за сим по ряду все, как что было.

В ночь на 26-е число сеял мелкий дождик, а к утру поднялся очень густой туман, что русского лагеря по ту сторону оврага точно и не бывало. В пять часов утра Наполеон сел уже на коня и стал объезжать свои войска, полк за полком. Когда же подъехал к своей гвардии, которая, великого дня ради, разоде-

лась как на парад, туман внезапно рассеялся, и солнце показалось во всем своем блеске. И указал он на солнце и воскликнул:

– Вот солнце Аустерлица!

И, посмотрев на часы:

– Уже шесть часов. Пора начать.

И подал знак. И грянула ближайшая батарея сигнал для начала. И потекли бесконечным потоком через овраг к русским колонны за колоннами, полки за полками. И загрохотали с батареей французских и русских сотни орудий. И заволочло кругом – уже не туманом, а пороховым дымом – и поле сражения, и самое солнце на небе.

Временами лишь ветром дымный полог отодвинет, и видно тогда, как русские батареи с своих высот изрыгают непрерывно огонь и дым, а по всей равнине идет где ружейный, где рукопашный бой. Зрелище преужасное!

И снова все скроется в непроглядном дыму. Но неумолчный гром орудий и ружейная трескотня говорят о том, что там, в дыму, умирают геройскою смертью сотни и тысячи здоровых людей...



Сам же он, виновник этого ужаса, не сел на вершину холма, а стоял на холме в своей серой походной шинели, наблюдал с вышины за тем, что затеял, и чихал-чихал – не то от едкого дыма, не то от насморка, который схватил в утреннем тумане.

С поля сражения летали к нему то и дело адъютанты. Маршалы требовали все новых подкреплений. Но своих любимцев – старую

и молодую гвардию – он приберегал напоследок. Тут опять адъютант от Нея – Бога ради, прислать хоть партию гвардейцев.

И вот от конского топота земля дрогнула; дивизия кирасир генерала Коленкура в блестящих латах мчится ураганом под гору в ложину и оттуда в гору, во главе всех – сам Коленкур. Как сшиблись они с русскими – за дымом не было видно. Потом уж узнали, что первым же пал Коленкур: русская пуля пробила ему голову.

– Скоро ли наш черед? – говорил лейтенант д’Орвиль.

И самому-то ему не терпелось, да и Стелла его, лошадка молодая, горячая, под ним плясала, в бой рвалась тоже. Я держал ее под уздцы.

Как вдруг из поднебесной ядро прямо нам под ноги. Я – скачок в сторону, а Стелла – на дыбы. Ядро же шипит и кружится по земле волчком. Не успел лейтенант отдернуть назад лошадку, как ядро покатилось ей под задние ноги, и оба они – и лошадка, и седок – кувырком. Господи, помилуй!

Как лейтенант себе хребта не переломил –

для меня до сих пор загадка. Когда ему помогли приподняться, он только охнул от боли.

– Сильно ушиблись? – спрашивает полковник.

– На правую ногу ступить не могу: не то сломана, не то вывихнута.

– Благословите судьбу, мой друг: по крайней мере останетесь живы. Кто из нас прочих вернется живым – одному Богу известно.

– Да лучше умереть на поле битвы, чем в лазарете! А моя бедная Стелла! Смотрите: одно копыто у нее оторвано!

И на глазах у лейтенанта навернулись слезы.

– Да, придется ее пристрелить, – говорит полковник.

– Только, пожалуйста, без меня! А теперь дайте мне другую лошадь.

– Нет, нет, мой милый; сама судьба, видно, хранит вас. Отправляйтесь-ка в лазарет, вон в тот перелесок.

И, опираясь одной рукой на меня, другой на свою саблю, д'Орвиль заковылял к перелеску.

– Что, очень больно? – спрашиваю его.

Не отвечает, только зубы крепко стиснул.

Доплелись. У опушки лазаретный фургон и костер с котлом. От дерева к дереву, в виде палатки, протянута засмоленная парусина; на земле – свежая солома, прямо с поля сорванная; а на соломе – рядами – раненые. Они уже ампутированы, перевязаны и тихо только стонут. Зато из другой палатки – операционного пункта – доносятся такие вопли, что кровь в жилах стынет.

Мы – туда. У операционных столов барон Ларрей и де ла Флиз, засучив рукава, орудуют. На другом конце доктор Бонфис с фельдшером перевязывают молодого солдата, у которого только что руку по локоть отняли.

– Что у вас? – спрашивает доктор моего лейтенанта.

– Перелом ноги у щиколотки или вывих – не знаю.

– Сейчас к вашим услугам. Вот табуретка – присядьте.

– А где моя отрезанная рука? – говорит ампутированный. – Дайте-ка ее сюда.

Фельдшер подает; а тот берет ее у него здоровой рукой, возносит над головой якобы по-

бедный трофей и восклицает:

– Да здравствует император Наполеон!

Такова слепая любовь французов к сему бичу рода человеческого, околдовавшему их своими злыми чарами!

Фельдшер отбирает опять у больного отрезанную руку и относит в угол, где свалена какая-то кровавая груда. Лейтенанта передергивает.

– Что это, доктор? Бог ты мой! Да это все ведь руки и ноги?

– Да, «пушечное мясо», – говорит Бонфис. – Для него (разумей: для Наполеона) мы все ведь только пушечное мясо!

Д’Орвилю делается дурно. Бонфис велит подать ему вина; потом, когда тот оправился, ощупывает у него щиколотку.

– Пустяки! – говорит. – Простой вывих. Я причиню вам некоторую боль; но без этого, простите, невозможно.

В ноге лейтенанта что-то хрустнуло; сам он весь побледнел, потом покраснел, но не пикнул.

– Вот и все, – говорит Бонфис. – Попробуйте встать... Ну что?

– Да ничего... Чувствительно...

– Но не очень?

– Не очень; сносно.

– Поберечься вам все-таки еще нужно. А теперь с Богом – вы за свое дело, я за свое.

Мы оба с лейтенантом счастливы выбрать-ся на волю. Но перед самой палаткой видим... кого же? Его Стеллу! На трех ногах приплелась бедняжка за своим господином. Узрела его – заржала от радости.

Прослезился мой лейтенант, взял в руки ее голову, поцеловал в губы.

– Дорогая ты моя! Увы! Ни Бонфис, ни сам Ларрей не воротит тебе твоего копыта. Вы не поверите, Андре, как привязываешься к такому животному в походе! Вот пистолет – пристрелите ее... Я сам не могу...

Но и я отказался. Сделал это за нас носильщик, что только что вместе с другим принес в лазарет тяжелораненого. Легче раненные тащились одни, волоча за собой ружье.

«А в лощине, – думаю, – иные, пожалуй, и кровью истекают!» Сдал лейтенанта на руки денщику, а сам – в лощину. Мимо ушей пули, как мухи, жужжат.

Глядь, так и есть: на самом откосе лежит маленький, безусый еще солдатик, рядом барабан; значит, барабанщик. Глаза закатылись; еле уже дышит. А над ним на коленях маркитантка Флоранс.

– Помогите мне, – говорит, – налить ему в рот вина; а то уже не очнется. Тише, тише! Плечо ему раздробило.

Поднимаю я осторожно голову. А Флоранс:

– Иисус и Мария! Ай, как больно! Как больно!

И заплакала навзрыд: шальной пулей у нее из руки фляжку выбило и ноготь с большого пальца снесло.

На счастье проходили опять два носильщика с пустыми носилками. Уложили на них барабанщика. Флоранс, все еще всхлипывая, побрела за ними.

Стыдно признаться, но от вида ее окровавленного пальца у меня самого в глазах потемнело. После потоков крови в лазарете это была, так сказать, последняя капля, переполнившая чашу моего мужества.

И теперь, спустя два дня, жутко вспоминать о всех ранах и страданиях, коих тогда

был свидетелем...

Одного только человека ничуть мне не жалко – самого Наполеона. Следил он за сражением издали и не получил посему ни царапинки; но душою выстрадал едва ли не больше всех... Весь век свой ведь воевал, все шло как по маслу: раз-два – и неприятель разбит, хватай только, знай, бегущих. А тут нет! Бой длится с утра до вечера, а неприятель ни с места; ни единого даже пленного.

– Ничего, ваше величество, не поделаешь, – оправдывался один генерал, – русские стоят как стена...

– Так мы ее сокрушим!

А сам, мрачный как ночь, ходит все взад и вперед, как лев в клетке.

– А свою старую гвардию он все еще бережет! – ропщут уже и раненые. – Мы, голодные, изморенные, кровь проливаем, жизнью жертвуем; а их, дармоедов, кормят и холят. Будь у него коробка, он уложил бы их туда, как оловянных солдатиков.

Когда совсем стемнело, пальба сама собой прекратилась. По подсчету французов, у них сделано было в этот день из пушек 70.000 вы-

стрелов, а из ружей несколько миллионов. И русские все же не бежали и не просили пардону!

Сами французы понимали, что кичиться нечем. На сей раз после боя не было уже ни музыки, ни песен; даже костров не зажигали, словно из боязни, что по огням и ночью их будут обстреливать.

Наполеон же, говорят, до самой зари на постели с боку на бок без сна проворочался и бормотал про себя:

– Что за день! Что за день!

# Глава восьмая

*Державин о Багратионе и Кутузове. Парламентер Акинфов и король Мюрат. «Москва! Москва!» А где же депутация с ключами?*

*Можайск, августа 29.* Чем кончится кампания – одному Богу известно; но неприятель сам весьма не в хорошем положении.

Наутро, 27-го числа, под Бородином все ожидали нового боя. Ан нет. Приходят на рассвете маршалы в Наполеонову палатку с докладом, что русские, мол, снялись с позиций и опять уходят. Как быть?

А он, пуще простуженный, шепотом, ибо совсем осип:

– А много ли еще у нас, господа, людей в строю?

Стали подсчитывать – ста тысяч не досчитались.

– У русских, ваше величество, по меньшей мере столько же выбыло из строя. У нас убавилось войска всего на треть, у них – наполовину.

– Да раненые не все ведь еще подобраны?

– Хирурги наши не покладая рук всю ночь напролет проработали; а в лазарет приносят им все новых без счету.

– А двинемся сейчас за русскими, так сколько еще прибавится? Пускай уходят! Догоним.

И так-то почти целый день пошел на уборку раненых. Своих раненых русские, уходя, уже подобрали. Однако здесь, в Можайске, им поневоле пришлось оставить целую партию ампутированных. Всего жальче мне одного юнкера с отнятой ногой. Зовут его Виктор Топорков. Почти ровесник мне и на весь век свой уже калека! Сам он здоровяк, проживет, конечно, еще долго и горюет только о том, что не годен уж для военной службы. Раздробило ему ногу ниже колена в той самой атаке, в коей его командира, графа Кутайсова, ядром с седла сорвало.

– Тела графа так и не нашли! – говорил со слезами Топорков. – А не было ему ведь и 30-ти лет от роду! Вот и другой наш герой – Багратион. Давно ли Державин сложил про него экспромт:

*О, как велик На-поле-он.*



*И хитр, и быстр, и тверд во бра-  
ни;  
Но дрогнул, как простер лишь  
длани  
К нему с штыком Бог-рати-он.*

А ранен тоже насмерть! Но пока жив и здоров у нас Кутузов, мы не дрогнем.

– Французы и то, – говорю, – дивятся, как он дерзнул дать сражение их «великому императору».

– Дал он сражение затем, слышно, чтобы поднять дух солдат и показать Европе, что Наполеон нам не страшен. О! Одним своим глазом он видит дальше, чем Наполеон двумя глазами.

– А где он потерял другой свой глаз?

– При штурме Измаила. Турецкая пуля из одного виска в другой проскочила – случай небывалый!

– И солдаты его любят?

– Молятся на него. Когда он прибыл к нам в армию, над ним, на виду всего войска, воспарил орел. Кутузов снял шляпу и перекрестился, а лагерь кругом грянул: «Ура-а-а! Ура-а-а!» Как узнал о том Державин, тотчас воспел опять:

*Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!*

*Коль над тобой был зрим орел,  
Ты верно победишь французов*

*И, Россов защита предел,  
Спасешь от уз и всю вселенну;  
Толь славой участь озаренну  
Давно тебе судил сам рок:  
Смерть сквозь главу твою про-  
мчалась,  
Но жизнь твоя цела осталась:  
На подвиг сей тебя блюл Бог!*

*Привал на 52 версте от Москвы, августа 31.* Вчера поутру мы распростились с Топорковым – распростились как родные братья; расплакались оба.

– Нет у меня ничего, чтобы дать тебе на память. Да вот, возьми мои сапоги: твои истоптались.

– А ты сам-то как же? – говорю.

– Двух ног, как у тебя, у меня уж нет; на одной здоровой ходить я все равно не смогу, пока для больной не будет деревяшки; а когда-то ее мне изготовят! Тебе же мои сапоги в дороге пригодятся. Бери, бери!

И вот, благодаря ему, я могу еще следовать за моим лейтенантом. Забыл еще отметить, что прежнего полка его и в помине уже нет: пока мы с ним тогда под Бородином ходили в

лазарет, полк его был в огне, и вернулось назад всего 48 человек нижних чинов с сержантом Мушероном. Сам полковник и все офицеры полегли на месте. Упокой Господь их души в селениях праведных! Ответит за них на Страшном Суде все тот же кумир их.

Горсть оставшихся в живых порассовали по другим полкам, а самого д'Орвиля, со мной на придачу, взял к себе полковник Триго.

Русские отходят к Москве потихоньку-полегоньку, а мы, не торопясь, вослед. Были в авангарде два-три жарких дела. Мюратовская кавалерия, точно заигрывая, врывается в тыл русских; но те не дают ей повадки и отстреливаются. До белокаменной всего два перехода. Под ее стенами французы ожидают решительного боя. Но в первопрестольный град свой русские наверное уж их не впустят, о нет!

*Под Москвой, сентября 2.* Впускают и без выстрела!

Лейтенант д'Орвиль, коего полковник Триго взял себе в адъютанты, командирован был нынче с поручением в авангард к королю

Мюрату; а лейтенант велел дать и мне лошадь на случай, что понадобится для переговоров с русскими. Прошлым летом Толбухины брали меня с собой в деревню; там у них целый табун, и мы с Петей каждый день скакали вперегонку на водопой. Теперь мне это пошло впрок.

Когда мы подъехали к Мюрату, я его уже близко разглядел: красавец-мужчина; завитые в кольца локоны по плечам развеваются; треуголка с перьями вся раззолоченная; плащ – красный и через плечо откинут, чтобы виднее были звезды на груди. Любезно сам улыбается:

– Что скажете, г-н лейтенант?

– Так и так...

Но Мюрат остановил уж его рукой:

– Трубят! Верно, парламентар.

И точно: от французского аванпоста отделился русский офицер в гусарском ментике; подъезжает с рукой у кивера:

– Честь имею рекомендоваться вашему королевскому величеству: штабс-ротмистр Акинфов. Прислан от генерала Милорадовича с письмом нашего фельдмаршала, светлейшего



князя Кутузова, к начальнику штаба императора Наполеона, генералу Бертье.

А король в ответ, с отменной вежливостью приподняв на голове свою пышную шляпу:

– Весьма рад познакомиться, – говорит и подает знак нам с лейтенантом и своей свите, чтобы отъехали в сторону.

Так разговора мы и не слышали. Видели только, как положил он руку в замшевой перчатке на шею Акинфовой лошади и принял

от него письмо. Распечатал, прочитал и кликнул своего адъютанта.

– Проводите-ка господина парламентаря к его императорскому величеству.

Мы с д'Орвилем опять к нему. Но он уже одумался, видно: послал другого адъютанта вернуть назад Акинфова.

– Желая охранить Москву от разгрома, – говорит, – я принимаю, так и быть, условия генерала Милорадовича. Чтобы дать вашей армии в порядке покинуть город, мы двинемся туда за вашими казаками так тихо, как вам угодно, но с тем, чтобы Москва сегодня же была уже нашей. Сами вы не москвич?

– Москвич.

– Так объявите жителям, что они могут быть совершенно спокойны. Никакого вреда им сделано не будет; не будет с них и никаких поборов. Но жители-то и градоправитель московский, граф Ростопчин, еще ведь в Москве?

– Простите, ваше величество, – говорит Акинфов, – но все это время я был в походе, и ни о Москве, ни о Ростопчине ничего мне неизвестно.

Тонкий же человек! Мюрат же не унимался:

– А где император Александр?

– Тоже не могу сказать.

– Я очень уважаю вашего государя и дружен с его братом, великим князем Константином. Весьма жалею, что вынужден воевать.

Тяжелый поход!

– Мы, ваше величество, – говорит тут Акинфов, – воюем за нашу родину и не замечаем тяготы похода.

Не понравилось – поморщился.

– Та-ак... Но почему бы вам не заключить мира?

– Ни ваша армия, ни наша еще не разбита, и похвалиться победой ни одна сторона еще не может.

– Пора бы мириться, пора! Могу я предложить вам завтрак?

– Покорно благодарю ваше величество. Но генерал Милорадович ожидает вашего ответа.

– Можете его успокоить, что Москвы мы не тронем. Согласился я на его предложение единственно из личного к нему уважения.

И Акинфов откланялся. Мюрат вслед ему приятно еще улыбался, но как только тот отъехал несколько дальше, он сердито зафыркал:

– Просит, вишь, пощадить их раненых и пленных, точно мы такие же варвары, как они! Буде же мы не дадим им всем выйти спокойно из Москвы и станем напирать, то они примут опять сражение, а в Москве не оставят камня на камне!

– Теперь, ваше величество, может быть, выслушаете меня... – говорит лейтенант д'Орвиль.

– Ни к чему, г-н лейтенант: раз Москву отдадут нам без боя, то все прежние распоряжения сами собой отпадают. Я еду сейчас за приказаниями к императору.

Сам Наполеон в ту пору был еще за несколько верст позади на подмосковной даче князя Голицына, где Мюрат и застал его, говорят, за завтраком.

Мы тем временем, ни евши, ни пивши, на солнце жарились под Поклонной горой, из-за коей Москвы видать еще не было.

Только в два часа дня подъехал он с своей свитой и конвоем – стрелками и польскими

уланами; едет, не спеша, сытый и довольный такой, на арабском скакуне, не в серой уж походной шинельке, а в новом, с иголки, синем мундире, в белом жилете и белых лосинах; мундир на животе расстегнул: на радостях позавтракал, знать, не в меру плотно.

А авангард уже на гребне горы, ликует, бьет в ладоши:

– Москва! Москва!

Забыл и он тут свою напущенную важность, погнал в гору скакуна. «Восторг внезапный ум пленил».

– Наконец-то вот сей славный город! – воскликнул. – Да и пора уж было...

Как настала тут наша очередь – Господи Боже Ты мой! – и вправду ведь, что за краса неописанная! За равниной, верстах в трех от нас, Москва-матушка среди зеленых садов пораскинулась, золотыми и всех цветов главами на солнышке как жар горит-играет, а меж тех садов и храмов Москва-река голубой лентой вьется-извивается... Глядишь – не наглядисься!

Сам-то той порой уж нагяделся; хоть и смотрит еще в зрительную трубу, да не на бе-

локаменную, а по сторонам на равнину озирается, по коей собственные рати его растянулись. Сошел с коня, сверяет виденное с планом Москвы, на траве перед ним разостланным. Сверил, садится опять на коня, велит дать сигнал из пушки и первый вниз галопом скачет; за ним – свита.

А войска только и ждали того сигнального выстрела. Орудия и конница под гору взапуски мчатся, индо земля дрожит.

– Беглым шагом марш! – командует тут полковник Триго своим пехотинцам.

Офицеры хлещут своих коней. Солдаты, в полной походной своей амуниции, с ранцами и ружьями, все три версты до города бегом бегут, без передышки. Бегу и я за ними в столбах пыли, среди всеобщего грохота, топота и гула.

Вот и городская застава. Авангард уже в город входит с музыкой и барабанным боем. Наполеон же остановился у ворот: генерал-адъютант Дюронель послан вперед за депутацией москвичей с городскими ключами.

– Ну, и с хлебом-солью, – говорит д'Орвиль. – Ведь вы, русские, Андре, всегда

так друзей встречаете?

– Друзей встречаем, – говорю. – Врагов – не могу сказать, не слышал.

– Да какие же мы враги? Мы волоска ни на ком не тронем, а порядки введем у вас свои, европейские.

Однако депутации ни с ключами, ни без оных все что-то нет. Наконец вот едет назад из города Дюронель, едет шагом, а за ним идет пешком один-единственный обыватель московский, да и то из французов, типографщик Ламур.

– Русские, – говорит, – ушли из города.

– Ушли! Когда?

– Да несколько дней назад. Очень уж испугались, как прослышали, что ваше величество идете на Москву.

– А граф Ростопчин? а власти?

– Ростопчин выехал последним 31-го августа.

Разумел москвич-француз 31-е число по старому стилю; но Наполеон не понял и вскипел.

– Еще до Бородинского сражения? Что за сказки! Болван!

И повернулся спиной. Никак, вишь, понять не мог, как это его, Наполеона, коего вся Европа трепещет, москвичи не принимают с подобающим раболепием.

Свита стоит кругом воды в рот набравши, шевельнуться не смеет; а он, не то растерявшись, не то сконфуженный, ходит взад да вперед, перчатки на руках дергает, то снимет, то опять оденет; платок достает, в другой карман перекладывает – и снова за перчатки... Но решиться на что-нибудь да надо.

– Вперед! – говорит, садится опять верхом и едет в город.

Едет слободой с Дорогомиловской, как потом сказывали), доехал до моста. Ведут к нему тут снова каких-то людей в немецком платье. Один вперед выступает.

– Кто такой?

– Книгопродавец Рис... Мы – из здешних французов.

– Значит, мои подданные. Где Ростопчин?

– Выехал, ваше величество.

– А магистрат?

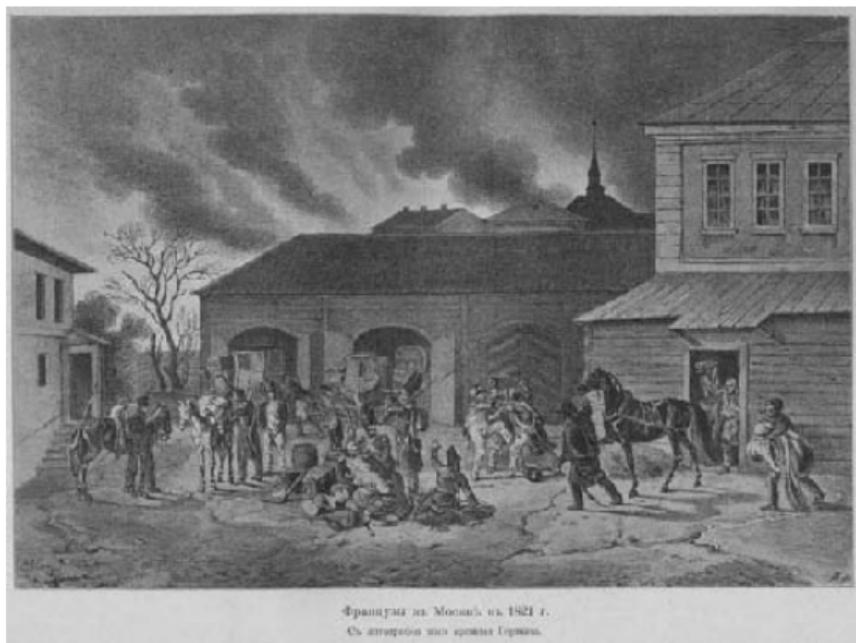
– Все выехали.

– Кто же остался в Москве?

- Из русских никто; одна чернь.
- Быть не может!
- Клянусь, ваше величество.

Пришлось в конце концов поверить. Переехал еще в раздумье мост, и там ни души. Повернул назад в Дорогомиловскую слободу, да и заночевал в пустом обывательском доме.

Понедельник ведь нынче – день тяжелый, недобрый день! Авось, вторник будет счастливее...



Француз в Москве в 1821 г.  
Съезжает из города Орлов.

Властелин полумира! Хоть и мнишь себя еще таковым, а я, пленник твой бесправный,

ей-же-ей, не поменялся бы теперь с тобою!

# Глава девятая

*Поджоги или случайность? В «боярском дворце». Мародеры. Фальшивая сторублевка*

Москва, сентября 3. Вот мы и в первопрестольной. Устроились. Но как! Точно тогда в Смоленске – на пожарище. Сами еще только, слава Богу, не горим.

Загорелось в разных концах еще с вечера. Полагают: поджоги. Кто говорит: от колодников, коих будто бы Ростопчин нарочито затем из острога выпустил. Кто говорит: от самих домохозяев – не себе, дескать, так и врагам бы не досталось. А кто – что французские же солдаты, на радостях подгулявши, красного петуха подпускают. Кто их разберет! В больших городах и то ведь, что ни день, где-нибудь да горит. Ну вот и тут, за уходом домохозяев и главнокомандующего со всей пожарной командой, тушить некому. Загорится, а дальше и поджигать нечего: пламя само собой гулять пошло.

Утро обещало день погожий, и в 11-м часу уже совершился Наполеонов въезд в Москву. Открывала шествие старая конная гвардия.

За нею он сам верхом со свитой, но – смирение паче гордости – в сером своем походном хитоне посреди золота, звезд и лент генералитета. За ним церемониальным маршем – любимцы его, гренадеры, в высоких мохнатых шапках, а за гренадерами – молодая гвардия, конная и пешая. Торжественно, что и говорить, но без музыки и барабанов, словно без воинских почестей кого до могилы провожали... Почем знать, не хоронили ли и взаправду славу Наполеона?

Проводили его до Кремля, где дворец для него Мюратом намечен, а сами затем разбрелись по городу – искать и для себя пристанища. Для нашего полка в конце концов нашлось таковое в некоем казенном здании, в коем раньше нас другой полк уже водворился. Поторговался наш полковник Триго с чужими; уступил ему тот надворный флигель. Но на всех офицеров помещений не хватило. Собрались тогда капитан Ронфляр и лейтенант д'Орвиль на разведки; меня да Пипо, капитанова денщика, с собой тоже прихватили.

Идем, по сторонам озираемся. Потянулась тут каменная преграда с чугунной узорчатой

решеткой – сад.

– Дворец боярский – пале де бояр! – говорит капитан. – Чего лучше?

Вот и ворота, тоже чугунные. За воротами, в глубине двора, каменные палаты в один ярус, коли не боярские – ибо бояр на Руси у нас, сколько я знаю, уже не водится – то барские. Ставни, однако же, по всему лицу закрыты: сами баре, стало быть, в отлучке.

Стучимся в ворота. Из подвального окошечка высунулась голова бабья в платке – и опять спрятались.

– Ну-ка, Пипо – говорит капитан – полезай и отвори ворота.

Пипо, шустрый малый, мигом на ограду, с ограды на решетку, а с решетки на двор; впустил нас.

Тут, хочешь не хочешь, выползли из своей конуры старик-дворник с своей старухой.

– Здорово, старче! – говорю. – Принимай гостей. Ведь ты, чай, дворник?

Оглядел нас зверем исподлобья, как диких зверей.

– Старшой, – говорит. – Да вам чего?

– Господ твоих ведь нет в Москве. Дом сво-

боден; так вот прими-ка на постой господ офицеров. Французы – народ не лихой, даром никого не обидят.

– Да ты сам-то, любезный, кто будешь? Говоришь по-нашему, по-россейскому.

Сказал ему. Почесал он затылок, стал потихоньку совещаться с женой.

– Да что, Терентий, – говорит старуха. – Все же как-никак офицеры; грабить не станут. А не впустим, так силой вломятся.

Впустили. Обошли мы весь дом: раздолье, поистине барское жильё. Пол – паркет, обои – с пукетами, потолки – лепные, с амурами, мебель – где шелковая, где резная дубовая – роскошь, да и только!

В одной комнате посреди пола огромные узлы с перинами и подушками, в другой – заколоченные ящики.

– Что, – спрашиваю, – в ящиках?

– В ящиках-то?.. – говорит Терентий. – Одна блажь господская!

– Какая блажь?

– Да картины. Со стен, вишь, сняли, чтобы в деревню увезти, да подвод не хватило; на моем попечении и оставили.

– Картины? – говорит капитан Ронфляр. – Любопытно посмотреть, какая такая живопись московская.

Велел старику подать топор и клещи; раскупорили один ящик, вынули картину, другую, третью – все масляные. Глядит капитан и руками разводит:

– Милль тоннер! Тысячу громов! Вы, д’Орвиль, ведь парижанин?

– Парижанин.

– Бывали, конечно, в Лувре?

– Как не бывать! Такой картинной галереи в целом мире нет.

– Так смотрите же: ведь это настоящий...

Он назвал какого-то иностранного живописца, должно быть знаменитого, но коего имени я никогда не слышал.

– А это такой-то – говорит д’Орвиль и другое имя называет. – Ему цены нет! Знаете, г-н капитан, я взял бы себе эту штуку: такие картины – лучшее украшение.

– Погодите – говорит капитан. – Может, найдется еще что получше.

Все ящики раскупорили, отложили себе каждый по три, по четыре картины.

– А рамы где же?

– На чердак снесены – говорит Терентий.

– И пускай. Надо ж что-нибудь и хозяевам оставить!

– Простите, господа, – говорю я тут. – Но вы берете себе чужие вещи, не спросясь хозяев...

Рассмеялся мне в лицо капитан, потрепал меня по плечу.

– Военная добыча, мой друг. На войне как на войне! А ля герр ком а ля герр! Ну-с, а теперь спросите: чем он нас накормит?

Съестного у дворника нашлось только – черный хлеб, огурцы, лук да квас. Капитан кислую рожу скорчил.

– Ну, это кушанье для свиней!

И достал из бумажника радужную ассигнацию.

– Вот, Пипо, сто рублей. Пойдешь с Андре и этим мужиком, купишь провизии.

Пошли мы. В воздухе еще пуще дымом и гарью пахнет. Один дом весь в пламени. Из соседних образа выносят, перед дверьми ставят.

Добрались так до Гостиного двора. Моска-

тельный ряд полымем уже пылает.

– Скипидар, сало, масла всякие, – говорит дворник Терентий, – искру брось – костер готов.

До суровского ряда огонь еще не добрался. Но французские солдаты по лавкам рыщут, целыми грудями товар выносят: шелк и бархат, меха ценные, галантереи... Купцы-хозяева с приказчиками тут же стоят, не препятствуют: самих их ведь еще, чего доброго, пристукнут.

– Мародеры! – говорит Пипо. – От них не уберешься. Мы-то берем все за чистые деньги.

Где бакалейный ряд – и спрашивать нечего, по мародерам видно: кто тащит сахарную голову, банку с вареньем и аршинную колбасу, кто – окорок и целый балык; сам еще что-то жует да причмокивает.

– Тут все, кажись, найдем, что требуется, – говорит Пипо.

Вошел в лавку, отобрал всякую всячину, подает хозяину свою сторублевку. Принял тот, стал разглядывать, на свет посмотрел, понюхал и головой замотал:

– Фальшивая, – говорит.



– Как, – говорю, – фальшивая! С чего ты это взял?

– Да как же, – говорит, – рисунок и буквы гуще, чем на настоящих, а подписи не от руки сделаны – тоже отпечатаны.

– Слышите, Пипо? – говорю. – Ассигнация-то фальшивая.

Обиделся.

– Вот на! Сам император Наполеон их на миллионы отпечатал и еще в Польше через жидов в оборот пустил. Везде их за настоящие принимали. У маршала Бертье и доски-то для отпечатания с собой взяты. Работа наверно куда чище вашей – французская работа!

– Давай уж сюда! – говорит купец. – Забирай чего хочешь: все равно расхитят.

# Глава десятая

*Пожар Москвы. Очередные мародеры. Небесное знамение и сердобольный молодой барин. Клады*

Сентября 4. Наполеон уже за городом в Петровском дворце. Ночь провел еще в Кремле, но свет от горящей Москвы бил в окна и не давал ему спать. Не раз он вскакивал с ложа, выходил на балкон, с коего как на ладони виден был весь пожар, и брюзжал на «диких скифов», что собственное свое добро сжигают и армию лишают «обещанной награды». Когда же поутру камердинер-мамелюк Рустам второпях ему левый сапог на правую ногу подал, он в сердцах пнул разиню ногой в грудь, так что тот упал и затылком ударился об пол. Так по крайней мере рассказывал Пипо, который успел уже в Кремль сбегать.

Наш дом, слава Богу, каменный, стоит в глубине двора и окружен еще садом; значит, надо полагать, уцелеет. Но кругом, куда ни оглянись, огонь и дым; горит Москва, горит со всех сторон! От палящего жара поднялся ве-

тер, не ветер – ураган; горящие головни переносит, как пух, через дома в соседние кварталы.

Послали нас с Пипо опять в Гостиный двор за провизией. На улице мы схватились дружба за дружку, а то от бури и на ногах бы не устоять. Сверху же дождь огненный сыплется.

В Гостином от всех лавок ничегошеньки уже не осталось. Мы – назад. Ан огонь нам обратный путь уже отрезал. Пришлось пробираться закоулками, да и там от искр не убежать. А мародеры не унывают: в дома врываются, погреба и склады винные разбивают, из-за добычи меж собой, что голодные волки, грызутся.

На наших глазах три гвардейца на двух армейцев накинулись, силой у них награбленное отнимают. Те отбиваются:

– Такие вы, сякие, очумели, что ли? И на ваш пай всякого товару хватит.

А гвардейцы:

– Да вы кто такие?

– Мы из корпуса маршала Нея...

– Эвона, а туда же лезете! Не знаете, что ли, приказа – очередь соблюдать: первый день

старой гвардии дан, второй – нам, молодой, третий – корпусу Даву; ваша очередь когда-то еще придет!

– Ну, идем, Андре, – говорит Пипо: стыдно, знать, за своих земляков стало.

– Хорошо, – говорю, – и Наполеон ваш, нечего сказать: особым еще приказом грабить разрешает!

Как окрысится тут на меня мой французик:

– Одно слово еще против нашего императора – донесу по начальству, и нет тебе пардону!

– Ну, ну, ладно, – говорю, – не буду. Человек я не военный, порядков ваших не знаю.

– То-то, – говорит. – На первый раз, так и быть, не донесу.

– Но ведь давно ли, – говорю, – грабителей у вас расстреливали?

– Простых грабителей, да; ну, а здесь... Видел ведь ты, на что эти армейцы похожи: чучела гороховые, в одних лохмотьях ходят. Надо ж им обмундироваться. Берут товар на мундир, а кстати уж...

«Да у вас-то, гвардейцев, мундиры еще це-

лы», – хотелось мне сказать, но воздержался.

Так как мы с Пипо ничего съедобного не промыслили, то капитан Ронфляр и лейтенант д'Орвиль отправились к своему полковому командиру; Пипо – за своим капитаном. А я к Терентию и его Акулине:

– Нет ли у вас чего хоть для меня? Со вчерашнего во рту маковой росинки не было.

Сжалобилась старуха.

– Ишь ты, – говорит, – проголодался тоже! У соседей давеча мучицы выпросила, хлебец испекла. Садись уж, поделимся; гость будешь. Да сам-то ты, скажи, как к этим басурманам пристал?

Поведал я им, назвал Толбухиных.

– Какие то Толбухины? – говорит Терентий. – Самого-то не Аристархом ли Петровичем звать, а дочку Варварой Аристарховной?

– Они самые, – говорю. – Да вы-то откуда про них знаете?

– Нам ли не знать! – говорит Акулина. – Целый месяц у нас зимой прогостили. Да и зима-то вся какая шальная выдалась! Молодежи этой у нас что перебивало! А все больше, я чай, из-за нее же, из-за Варюши Толбухиной.

И нашему молодому барину краса девичья по сердцу ударила.

Оборвал тут муж болтуню:

– Молчи, старая, помалкивай! Не наше с тобой дело.

– Молчу уж, молчу. О чем, бишь, речь-то была? Да! О зиме прошедшей. Что ни день, то где-нибудь либо пляс, либо так – музыка да карты. По воскресным дням у Архаровых, по вторникам у нас, по четвергам у графа Разумовского, по пятницам у Апраксина. А в прочие дни то во французском киятре, то в балете. Николи еще на Москве такого веселья не бывало, совсем, поди, вскружилась!

– А теперь вот и расплачиваемся! – вздыхает Терентий. – Прогневили, знать, Господа! Полгода ведь, с августа по январь месяц, звезда хвостатая на небе знамением стояла. А барам нашим московским хоть бы что; невдомек, что за грехи их беда впереди неминуемая!

Стал было я объяснять старикам, что такие кометы не в одной Москве видимы, а по всей России, да и по всему земному шару; что, стало быть, ей, комете, до грехов московских бар никакого касательства нет.

Не дослушали, оба на меня как напустятся:

– Да ты еретик, что ли? А еще попович! Наши господа тоже этак до последнего дня в знамение небесное верить не хотели; верили в одного только графа Ростопчина, что москвичей обнадеживал, по стенам объявления расклеивал: «Православные, будьте покойны! Кровь наших проливается за спасение отечества. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости в земле Русской». А сам же, главнокомандующий, на-ка, поди, струсил, втихомолку тягу дал. Узнали мы о том только на другое утро, 1-го числа. Уж как старый барин-то осерчал – и сказать нельзя! Тотчас коляску запрячь велел, и с барыней да с барышней в деревню. Только шкатулку с деньгами да с драгоценностями в коляску взяли.

– А все прочее на вас здесь оставили?

– Нет, к вечеру из деревни десять подвод прислали. Нагрузили мы их доверху, да на грех молодой барин с полком своим прибыл...

Тут Акулина перебила мужа:

– Полно тебе, Терентий, Бога гневить! Не на грех Господь его прислал, а на счастье. «Богатство, – говорит, – дело наживное. Долой

все с возов!» Сняли, а на место того раненых солдатиков положили, чтобы в руки, значит, неприятелю не достались. Прислуга господская, что на возах было расселась, сзади пешком побрела.

– Так что из вещей, – говорю, – на тех подводах ничего и не увезли?

– Ничегошеньки. Спрашиваем еще у молодого барина: что же с вещами-то? «Уберите, – говорит, – куда знаете». А куда нам, старым людям, всю ту уйму убрать? И то надорвалась, Терентию помогая, еле ноги волочу.

– Значит, кроме картин, пуховиков и подушек, было еще многое другое. Куда же вы все так ловко убрали?

Огорчил я их. Акулина глядит на мужа, муж на нее, бормочет:

– Уж этот язык бабий!..

...А вещи-то отыскались. Надворные постройки при казенном доме, где остановился полковник Триго с другими офицерами, были деревянные; нынче они тоже сгорели; сгорела и конюшня, где стояли лошади офицерские. Лошадей едва вывели из огня и поставили в здешнюю конюшню. А как денщики офи-

церов ходят и за их лошадьми, то за лошадьми и денщиками переселились к нам и сами офицеры – благо, и помещения, и перина на всех хватает.

Пошли они гулять по саду. А там, за оранжереей, под старым дубом земля ногами затоптана; около и заступ неубранный лежит.

– Уж не клад ли, – говорят, – зарыт?

Кликнули денщиков, велели рыть. Так ведь и есть: сундук!

Вынули из ямы, сорвали крышку. Ан в сундуке-то шуба медвежья, шинель в бобрах, два салопа женских: один лисий, другой на соболе.

– Эге, – говорят, – на зиму нам тоже службу сослужат. Рой дальше!

Вырыли еще два сундука, но в тех одни лишь наряды женские.

– Ну что ж, не нам самим, так маркитанткам нашим пригодятся. Вина вот только, жаль, не нашлось!

А недолго погода бежит Пипо, в каждой руке по бутылке.

– Г-н капитан, г-н капитан! А вино-то нашлось!

– О!

– Точно так!

– Где же это?

– Дав саду же, на дне пруда. Повели мы лошадей купать, чтобы остыли после огня; а одна в воде обо что-то чуть ногу не переломала. Полезли сами в воду; ан там сундук. Вытащили на берег, а в сундуке-то целый винный погреб!

– А что, господа, – говорит тут капитан Ронфляр, – нет ли в пруду и других сокровищ? Пойдемте, посмотрим.

Пошли, приказали денщикам еще в пруду поискать. Нащупали те и второй сундук, и третий, и четвертый. А в сундуках и то сокровища оказались – все, чего раньше в доме недосчитались: серебро столовое, посуда медная, хрустали и фарфор, люстры и канделябры золоченые, часы каминные, приборы чернильные...

Как возликуют тут все «военной добыче»! Что поценнее до поприглядней – господа офицеры по рукам разобрали; остальное денщикам предоставили.

Мне тоже некую фарфоровую фигурку

предложили. «Бисквит», – говорят. Но я, понятно, отверг.

А Терентий с Акулиной только охают, глаза утирают: втуне были все их старания укрыть господское добро от злодеев!

# Глава одиннадцатая

*Виртембержец и мужичок. Милосердные острожники*

Сентября 5. Москва все еще горит – горит! По иным кварталам и шагу не сделать: море огненное. По другим улицы домашним скарбом запрудило, что жильцы и грабители из окон выбросили, да так и оставили. А грабеж все преумножается. Повыползла из своих нор и логовищ вся голытьба московская, всякие лихие люди, по пожарищу шатаются, из горящих домов последнее выволакивают. А «очередные» мародеры французские, сборная армейщина: виртембержцы, австрийцы, иллирийцы, кроаты, далматы – имена же их, Господи, веши! – с теми шатунами из-за добычи дерутся, из рук ее друг у дружки вырывают.

Сами французы, Пипо и приятель его Фортюне, с коими меня за провиантом отряжают, весьма возмущаются.

– Безобразие! – говорят. – Бери, что самой судьбой тебе послано, чему нет хозяина, но и другим не препятствуй.

– А уж это черт знает что такое! – восклицает Пипо. – Вот мерзавец-то! Об заклад по-бьюсь, что из этой проклятой немчурь, виртембержцев.

Гляжу я и наипаче возмущился: здоровенный солдат, косая сажень в плечах, на русского мужичка мешок с награбленным добром навалил да кнутом его еще, как ленивую клячу, похлестывает.

– Стой! – кричит Пипо.

Тот, будто не слыша, кнутом щелкает, на мужичка покрикивает.

– Стой, баранья голова! – еще громче кричит Пипо. – Из какой нации будешь?

Мародер ломаным французским языком в ответ бурчит:

– Не твое дело!

– Ну, так и есть: виртембержец! – говорит Пипо.

Задержал мужичонка да всю ношу со спины его на мостовую свалил.

Крепко разругался виртембержец – уже по-своему, по-немецки. А Пипо кнут у него выхватил, замахнулся:

– Забирай свой товар и проваливай! А не

То...

Видит тот, что одному ему с нами четыре-мя не управиться, навьючил на себя мешок и поплелся вон; а мужичок в ноги Пипо кланяется:

– Дай Господи тебе доброе здоровье, милый человек, а по смерти царство небесное!

Усмехнулся Пипо, отдал кнут мужичку, и пошли они с Фортюне своей дорогой. Я же, поотставши, спрашиваю мужичка, как он к тому живодеру в кабалу попал. А он:

– Да ты сам-то никак тоже наш брат русский будешь, не француз?

– Какой уж француз! – говорю. – Забрали они меня с собой из Смоленска, чтобы языком им служил.

– Так, так, – говорит. – А почто ж ты от них не уйдешь?

– Куда я пойду?

– Куда! К нашим. Хоть бы сейчас вот; про тебя, никак, забыли.

Оглянулся кругом; и вправду ведь: оба мои спутника либо за угол завернули, либо в дом какой вошли – как в воду канули.

– Мне одному, – говорю, – за город все рав-

но не выбратся: ни одной улицы в Москве не знаю.

– Так иди со мной. Проведу тебя закоулками.

И повел он меня закоулками, сам про беду свою душу отводит. Посланцы бонапартовы, комиссарами себя именующие, рыщут, говорят, по окрестным деревням, крестьян подбивают: «Везите, мол, все что ни есть на базар в Москву: мигом раскупим на чистые деньги». Поверили те сдуру, повезли: кто молоко, картофель, репу, кто овес да сено. Французы все, точно, живо по рукам расхватали, только денег-то от них редко кто видел. Ну, крестьяне и возить уже закаялись; калачом их в город больше не заманишь.

– А самого-то тебя, – говорю, – каким калачом заманили?

– Лукавый попутал! Комиссар, вишь, один, из полячков, подвернулся: «Для конной, мол, гвардии самого императора французского сено требуется. У императора денежки верные». И целковый-рубль мне задатком в руку. Польстился, грешный человек, сена воз выше крыши нагрузил, повез к их императору.

Подъезжаю к церкви Спаса на Бору, а ворота церковные настезь. «Въезжай», – говорит. «Как! – говорю. – Чтобы с лошадьё да возом в храм Божий? Креста на тебе нет!» Выскочили тут другие, оттолкнули меня, в шею еще наклали, сами воз в церковь провезли. Склад у них там всякого лошадиного корма: целый притвор завален.

Слушаю я мужичонка – ушам не верю.

– Ну, а телега твоя где же? а лошадь?

– За упрямство мое отняли; только кнут вот, как на смех, оставили: «Куда нам такой кнутишка!» Иду я по улице, плачу. Ан навстречу тот разбойник с мешком, самого меня в коня обернул, моим же кнутом подгоняет. Уж эта распроклятая орда! Лишь бы только наш царь-батюшка – дай Бог ему долгого царствования! – не мирился с их Бонапартом. Войска своего у него хоть и тысячи тысяч, да все мы на супостатов ополчимся, никому пощады не дадим.

«Все сие, – думаю про себя, – в дневник свой для Варвары Аристарховны занесу».

Тут вдруг в голову мне ударило: «А ведь дневник-то у меня дома в ящике стола остав-

лен! Ну, да делать нечего. Другого случая такого опять не дождешься»...

И пошел с мужичком. Проходим мимо обгорелого дома. А из подвала вопли детские:

– Мама, мама! Хлебца, корочку хлебца!

Заглянул я в разбитое оконце; а там женщина, еще не старая, но одни кости да кожа, а вокруг детишки мал мала меньше. Увидала нас, испугалась:

– Ой, не замайте! Погорельцы мы, нищие; сами третий день голодаем.

– Помочь малышам сам Бог велит, – говорю я мужичку. – Где бы нам раздобыть для них чего-нибудь съестного?

Услышала меня та женщина, взмолилась:

– Помогите, люди добрые! Господь наградит вас!

– Сейчас пойдем, поищем, – говорю ей. – Потерпи маленько.

– Ну нет, прости, соколик, – говорит тут мужичонка, – в таком разе я тебе уж не товарищ. Мне бы поскорее до деревни моей добраться.

Сказал и один вперед пошел. А я стою и сам не знаю, где что искать-то: кругом – пожа-

рище, остовы печей и труб. Но взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Вон каменный дом с колоннами; видно, барский. Но крыши нет; одни голые стены, а окна, без рам и стекол, зияют, что вытекшие глаза у слепца. У Толбухиных в Смоленске погреб был, однако же, под сводами, на случай пожара, чтобы огню не проникнуть. Может, и здесь тоже.

Влез внутрь дома, перебираюсь через груды кирпичей. Так и есть: за грудой – подъемная дверь с кольцом. Берусь за кольцо, а дверь сама собой уже поднимается; из-под двери же голова полуобритая высовывается, образина богомерзкая, эфиопская.

Не успел я и ахнуть, как эфиоп меня за ноги в подвал за собой втащил, и дверь сверху опять захлопнулась.

Сам я на полу лежу, а он верхом на мне сидит, рукою горло мне сдавил, что железными тисками.

– Ты его еще задушишь, Мирошка! – говорит ему кто-то. – Пусти его: все равно не убежит.

Пустил тот меня.

– Вставай, ну!

Встал я, дух перевозжу, кругом озираюсь.

Посередине подвала стол; на столе в пустых бутылках свечи церковные горят. Пол рогожами устлан; на рогожах же горы всякого добра: одежда дорогая, материи шелковые кусками целыми; посуда золотая и серебряная, утварь церковная, оклады образов в драгоценных камнях. По одной стене – рядами кадки и кадушки, по другой – банки и бутылки; на третьей ружья и сабли развешаны, а по четвертой пуховики разостланы, да на тех пуховиках человек шесть или семь таких же полуобритых молодцов развалилось.

«Острожники! Знать, конец мне пришел!» – Молитву про себя творю.

А они совет промеж себя держат, что делать со мной, рабом Божьим.

– Выпустите меня, братцы! – говорю. – Ведь и вас Ростопчин тоже из тюрьмы выпустил.

– Ишь, щенок, догадался, с кем судьба свела! – смеется один.

– Не токмо он нас выпустил, – говорит другой, – а и оружием всяким из Оружейной па-

латы против Бонапарта снабдил. И постарались же мы для него! Сколько ихнего брата на тот свет спровадили!

– Да и себя не забыли, – говорит третий. – Покойникам вечный покой, а живым хлеб да соль... да еще злата, серебра и скатна жемчуга впридачу!

Хохочет тоже, и товарищи кругом «ха-ха-ха!»

– Ну, а ты сам-то что за гусь? – говорит мне Мирошка. – Зачем к нам сюда пожаловал?

Рассказал я им тут про тех детишек голодных, ради коих ненароком к ним забрел.

– А что ведь, ребята, – говорит один, – детские молитвы к Богу доходчивы; в каторге ли век свой покончим, на поселении ли в сибирской тайге – коли голодных теперь накормим, так малость наших грехов нам, может, и отпустится.

– И то правда, – говорит Мирошка. – Но буде ты, пострел, дорогу к нам другим укажешь, так я тебя вот чем угощу!

Да длиннейший нож из-за пазухи вынул – индо мороз по спине у меня пробежал.

– Кому я укажу? – говорю. – Сам я в бегах,

в плену у французов донныне пребывал.

Поверили.

– Ладно, – говорит Мирошка. – Чего ж тебе дать для тех деток? Варенья банку, что ли?

– Вареньем, – говорю, – не насытятся. Им бы хоть черствого хлеба.

– Ну, хлеба у нас самих ни свежего, ни черствого нету; по всей Москве не допросишься. А вот, изволь, коврижки медовые...

– Коврижки тоже не больно сытны, – говорит другой. – Пожертвуем-ка окорок.

– А варенье младенцам на закуску, – говорит третий, – полакомятся – нас добром помянут.

Сложили мне все в кулек, да и выпустили меня на свет Божий. Смилуйся же над ними тоже, Господи, и просвети их!

Отнес я кулек к голодающим, сунул в разбитое оконце: «Вкушайте на здоровье!» – и был таков.

А дома меня уж хватились; сказал, что заблудился.

– Хорошо, хорошо – говорит лейтенант д’Орвиль. – Скажи-ка: ты ведь нашу французскую грамоту разбираешь?

– Разбираю – говорю.

– В коридоре тут целая библиотека; есть и французские книги. Так вот займись-ка, отбери мне романы. Денщики наши на беду все неграмотны.

Засветил я огарок (коридор-то полутемный) и стал отбирать. Перелистываешь: роман аль нет, да и зачитываешься: плоды фантазии, но фантазии французской – куда уж занятно пишут эти господа французы!

# Глава двенадцая

*Из огня да в воду. Наполеон в Петровском дворце и в воспитательном доме*

Сентября 8. Мужичонка со своим советом – бежать – из головы у меня не выходил. И попытался я убежать, да чуть жизни не решился. Не задалось!

Было то в четверг же, 5 числа, когда, домой вернувшись, взялся романы французские для лейтенанта отобрать. Откушав, господа офицеры за картишки засели да за полночь заигрались. Наконец-то надоело, улеглись; захрапели и денщики.

«Либо сейчас, либо никогда!» – говорю я себе. Связал в узелок свои пожитки, не забыл на сей раз и дневника да тихонько на цыпочках с заднего крыльца на двор. Со двора на улицу, а там рысью к Москве-реке: из города куда-нибудь да течет, так и меня за город выведет.

Небо хоть и в тучах, да город в разных местах по-прежнему костром пылает, от огня поднебесного и небеса ярким заревом светят-

ся, а от зарева среди ночи светло как днем.

Вот и мост. Вдруг из-под моста полуночник-бродяга лезет; за ним другой.

– Стой! Ни с места! Тебя, голубчик, мы и поджидали. Что несешь? Покажь-ка.

Отняли узелок, развязали.

– Товар неважный, – говорят. – Ну да ничего, тоже пригодится.

– Дневник-то хоть, – говорю, – назад отдайте.

– Какой дневник?

– А вон тетрадь.

– Изволь. Куда нам такую дрянь! Картуз – иное дело.

Сорвал с меня картуз, на собственную башку напялил.

– Как раз впору.

А другой:

– Ну, а теперь сапоги давай-ка сюда. Может, и мне впору придутся.

Оглянулся я кругом – ни души.

– Долго ли ждать-то? – говорит. – Камердинера своего с собой не взял, так и сам разувешься.

Снял я сапоги. Он их примерил и заругал-

ся, что ноги ему жмут.

– Разносятся, – говорит другой. – А одежду его мы уж опосля меж собой поделим. Разделвайся-ка, дружище.

Делать нечего, разделся я до рубашки.

– За смирение твое, – говорят, – рубашку тебе, так и быть, оставим.

Забрали остальное и ушли опять к себе под мост. А я стою, дрожу на холодном ветру, как в лихорадке; заплакал бы от горя и досады. Да в слезах что толку?

И побрел я вперед босиком, в одной рубашке, с дневником под мышкой.

Прошел с версту. Как разверзнутся тут небеса надо мною! В миг единый промок до ниточки. По пути часовня; да вход закрыт. Под навесом все же некоторая защита; к дверям прижался.

А дождь хлещет, как из ушата. И огню не устоять: по ту сторону Москвы-реки, в Замоскворечье, в геенне огненной, пламень адский с хлябями небесными вотще борется, потухает; то ярче опять вспыхнет, то снова гаснет. Зареву на небе тоже бледнеет...

А меня с Москвы-реки ветром так вот и об-

дувает, с навеса обдает холодными брызгами. Мокрая рубашонка к телу прилипла... Холод до самого сердца добирается... Зубы стучат... На ногах еле уж держусь... Присел бы на ступеньку; да ступенька каменная, холодная и тоже мокрая...

А дождь льет да льет по-прежнему; целую ночь, пожалуй, не перестанет: осенний дождь, известно, раз как зарядит, так и конца ему нет. До утра совсем замерзну. Дальше бежать – за город к нашим вряд ли уж добегу; по дороге свалюсь, Богу душу отдам. Одно лишь, значит, и остается – вернуться к французам, к лейтенанту д’Орвилю – судьба, рок!

Как до тюфячка своего добрался – даже и не помню. Очнулся только сегодня, на третьи же сутки. Пипо говорит, что я шибко бредил. Дневника своего, однако, не обронил. Теперь хоть опять в здравом уме и памяти, но телом еще горю и зело слаб. Присел на постели, да голова закружилась. Пишу лежа...

...Заглянул лейтенант, допрос мне учинил. Сказал ему, что на пожар смотреть пошел, да бродяги дорогой ограбили. Глядя на скудный наряд мой, должен был поверить. От себя мне

свои старые туфли поднес, а Пипо и другие денщики – кто что из своего старья. Что ни говори, а народ не бездушный, милый народ! Так-то с виду и я тоже в их же брата-француза преобразился.

*Сентября 9.* Пробовал встать, да шатаюсь еще, как пьяный.

– Лежи себе, отлеживайся, – говорит лейтенант д’Орвиль. – И без тебя управимся.

А Пипо, что ходил за мной, когда я без памяти лежал, и теперь еще меня не забывает. Достал у Терентия шашки, играет со мной. От него же узнаю, что за сии дни было.

Тот жестокий ночной ливень с четверга на пятницу, что меня доконал, и пожар во всем городе залил. Посему в пятницу же, 6-го числа, Наполеон со своей свитой да со старой гвардией из загородного Петровского дворца в Кремль назад перебрался.

Не красно им там, за городом, жилось! Сам-то со свитой во дворце хоть основался, целый день, слышь, приказы корпусным командирам диктовал, но куда не в духе был: никак, вишь, чрез своих разведчиков дове-

даться не может, где ныне Кутузов со всем войском своим обретается: словно сквозь землю провалился! Куда ни сунутся, везде на одних казаков натыкаются.

Ну, а старая гвардия лагерем в поле расположилась за дворцовым парком. Солнца уж нет как нет; погода сырая, холодная. По всему лагерю грязь по щиколотку. Офицерство хоть в палатках и под дощатыми навесами укрывалось; но от сквозного ветра там не уберечься. Насилу себе из дворца мягкую мебель – диваны и кресла – выпросили; а сами в сибирские меха кутались да в кашемировые шали – военные «трофеи» из московских палат «боярских». Кушали с серебра, но, вместо супу, некую мучную бурду, с золой перемешанную, а жаркое все одно – конину да конину, и без крошки не токмо белого, но и «свиного» хлеба. Про нижних чинов и говорить нечего: лежали они на мокрой соломе и под открытым небом; костры же себе разводили не дровами, а оконными рамами, дверьми и мебелью все из того же дворца. Вдобавок в ночь на б-е число проливным дождем и самих их до костей промочило, и костры им потушило.

Не диво, что Наполеон поторопился с утра же в город вернуться. Но тоже не на радость: по улицам солдаты его шайками за добычею бродят; другие с награбленными уж вещами, как торговки, на перекрестках сидят, проходящим за кусок хлеба предлагают; а из одного дома ему прямо под ноги, чуть не на голову, столы и стулья, зеркала и картины полетели.

Весьма осерчал, одним декретом сие зло пресечь хотел. Но ему доложили, что не до всех-де полков еще очередь дошла. Так нынче только, 9-го числа, приказ вышел, что кто и впредь в грабеже уличен будет, того уж без pardону расстреляют.

От всей-то Москвы, полагают, уцелела после пожара много-много что пятая часть. Уцелел так и казенный воспитательный дом, да и разграблен не был: управляющий оным Тутолмин не бежал из города, по примеру главнокомандующего Ростопчина, а в самый день въезда Наполеона в Москву, 3-го числа, смело предстал перед ним: «Благотворительное-де заведение для круглых сирот, под особым покровительством состоящее матери государе-

вой, императрицы Марии Федоровны. Защи-  
тите от разгрома!» И Наполеон внял, защи-  
тил. А воротясь после пожара в город, сам по-  
сетил оный дом, похвалил Тутолмина за об-  
разцовый порядок и спросил, не намерен ли  
он, Тутолмин, послать императрице в Петер-  
бург рапорт о том, что вверенное ему заведе-  
ние нимало не пострадало ни от пожара, ни  
от неприятельского нашествия.

– Рапорт у меня уже изготовлен, ваше ве-  
личество, – отвечал Тутолмин, – не знаю  
только, с кем его отправить...

– Дайте его мне, – говорит Наполеон. – Я  
пошлю со своим курьером.

И послал. Рассчитывает, видно, что цари-  
ца-мать смягчит гнев царя на него, злодея.

Вызвал тогда же к себе некоего москвича  
Яковлева, отставного офицера:

– Вот вам, – говорит, – письмо от меня к  
императору Александру. Поезжайте сейчас в  
Петербург.

В письме же том – как слышал лейтенант  
д’Орвиль в канцелярии генерала Бертье (угро-  
за заключается, что французская армия горит  
нетерпением идти на Петербург, и тогда Пе-

тербург постигнет та же участь, что и Москву, русские ассигнации потеряют всякую цену, и Россия обанкротится.

Прибавил бы уж кстати, что сам фальшивых русских ассигнаций на миллион отпечатал. Думает, вишь, своей угрозой понудить нашего государя мир заключить. Как бы не так!

В Париж тоже курьер поскакал с повелением выбить медаль во славу вступления великой армии в Москву. Не рано ли, сударь мой, торжествуете?

# Глава тринадцатая

*«Ожидайте нас в Париже!» Французский театр. Крестьянский самосуд и французский военный суд. Крест с колокольни Ивана Великого. Маркитантка-боярыня*

Сентября 10. Смехотворный некий анекдот у меня с Пипо вышел. Играли мы опять в шашки. Играет он, сказать правду, куда лучше меня и взял три лишние шашки.

– Сдавайтесь, – говорит.

– Русские, – говорю, – до последней минуты не сдаются!

– Да ведь все равно вам уже не выиграть?

– Выиграю! И еще одну вашу шашку в угол запру.

Усмехнулся.

– Это так же верно, – говорит, – как то, что русские в Париже у нас будут, как вот мы в Москве.

– А вы думаете, не будут? Посмотрим.

– Посмотрим, – говорит, – посмотрим!

А сам зазевался. Подставил я ему шашку:

– Не угодно ли взять?

Взял он, а я у него хватать три зараз.

– Посмотрим, – говорю, – посмотрим!

Он так растерялся, что тут же сделал другой преглупый ход, и я опять взял две лишние шашки; потом стал меняться, и в конце концов у него осталась одна-единственная, которую я и запер в угол.

– Ну, мосье Пипо, ожидайте нас в Париже!

То-то обозлился! Стулом так об пол треснул, что ножка отлетела.

*Сентября 11.* Дабы войска своего дух поднять, у Наполеона замышлены зрелища театральные. Казенный театр дотла тоже сгорел со всеми декорациями. Но в одном покинутом барском доме нашелся домашний театр. Дом сей мародерами, по примеру других, разгромлен; но сцену повелено без промедления в порядок привести, и уже послезавтра начнутся представления. Разыскали и актеров постоянной здешней французской труппы. Те было отговариваться, что все костюмы-де разграблены; но им объявлена непреклонная воля их императора – и покорились.

*Сентября 12.* Нынче был генеральный смотр французским войскам. Пипо протекцию мне оказал и провел меня в Кремль спозаранку.

Императорская старая гвардия, надо честь отдать, на загляденье; молодая гвардия тоже принарядилась, подтянулась. Зато армейские полки – просто стыд и срам: мундиры вконец изношены, заплатаны, и сами люди разучились в строю стоять, свои воинские штуки ружьями выделывать.

Наполеон, однако же, виду не показал, что замечает сии недочеты; отличившимся в Бородинском сражении ордена раздавал, других в следующий чин производил. Так капитана Ронфляра майором поздравил, а лейтенанта д'Орвиля своеручно петличным крестиком Почетного легиона украсил.

*Сентября 13.* Воля Наполеонова исполнена: театральный спектакль состоялся и отныне каждодневно повторяться будет. По углам улиц афиши с утра еще расклеены.

– Совсем как у нас в Париже! – говорили меж собой офицеры. – Только афиши писан-

ные, а не печатные.

– Зато и цены на все места очень умеренные.

– Да и струнный оркестр преизрядный. Откуда его выкопали?

– А некий лифляндский барон собственных музыкантов своих из Риги завез. При нашем нашествии сам барон с русскими тягу дал, а музыкантов здесь посеял.

Вечером вся компания, само собой, в театр собралась. Попал туда и Пипо, коему Ронфляр на радостях, что в майоры возведен, билет подарил.

В партере сидели одни солдаты; в первых рядах кавалеры Почетного легиона из гвардейцев. Офицерство занимало ложи. Были и дамы из здешних француженок.

Освещается театральная зала большим паникадиллом церковным. Занавес сделан из золотой парчи. Кулисы сколочены на скорую руку, но разукрашены лентами и искусственными цветами; а мебель даже прероскошная, ибо взята из того же «боярского дворца».

Самого Наполеона в театре не было. Для себя он устроил в Кремле особую концертную

залу и итальянских певцов из-за границы выписал. Чай, тоже своими фальшивыми сто-рублевками платить им будет. Поздравляю певцов!

*Сентября 15.* Что ни день, то мои офицеры в театре. Третьего дня давались «Три султанши», вчера – «Рассеянный Фигаро», сегодня пойдут «Проказы в тюрьме», завтра – «Сид и Заира».

– Нет, – говорят, – пищи для тела, так есть хоть для духа.

Да порядочна ли она еще, господа, эта ваша духовная пицца?

Впрочем, на однообразии жаркого им жаловаться уже не приходится: Пипо, что ни день, с ружьем на охоту ходит и своему господину то галку, то ворону, то кошку бездомную на крыше подстрелит.

От полковых же фуражиров и вправду мало толку: как от козла – ни шерсти, ни молока. Хотя их и рассылают по окрестным деревням, но проученные уже крестьяне, вилами, дубинами, рогатинами вооружившись, по дорогам их подстерегают и расправляются с ни-



ми самосудом. Страшное дело – самосуд! В озлоблении своем люди звереют, всякие люто-сти чинят. И раньше или позже кара их постигает. Так маршалом Даву на сих днях была захвачена группа вооруженных мужиков и военным судом осуждена к расстрелу. Но тут-то, перед лицом смерти, сказалось все христианское смирение русского человека. Когда осужденным прочитали смертный приговор (в русском переводе), они меж собою, как бы перед отъездом в дальний путь, обнялись, поцеловались. Когда же их поставили в ряд и одного за другим стали расстреливать, ни один не выказал малодушия, не молил о пощаде; когда до кого доходила очередь, он при-

зывал имя Божие, крестился и падал под пулей на вечный сон.

– Изумительно! – говорил Ронфляр своим товарищам. – Точно спартанцы или римляне...

– Да, г-н майор, – говорю я ему. – И простой русский народ, как видите, умеет умирать за свою веру и родину.

Не понравилось, прикрикнул:

– Тебя кто спрашивает? Пошел в свою берлогу!

*Сентября 16.* Новое святотатство: с колокольни Ивана Великого золотой крест сняли; отвезут его, слышно, в Париж и на куполе Дома Инвалидов водрузят. Сам Наполеон из кремлевского дворца наблюдал за рабочими. Русские рабочие от столь безбожного дела, понятно, наотрез отказались. Тогда вызвали плотников и кровельщиков из своей же французской армии. Огромный крест, однако же, оказался для них не по силам грузным; сдержать на цепях не смогли, и грохнулся он с высоты на мостовую. Никого хоть, к счастью, не убило.



Заходила к нам проведать господ офицеров старая маркитантка Дюбоа.

– А что, мадам Дюбоа, – говорят ей, – будете вы сегодня в Кремле на костюмированном бале?

– Где уж мне! – говорит. – Император дает бал для здешней французской колонии...

– Да вы-то чем хуже здешних дам? Сколько ведь потрудились на походе для нашей армии!

– У меня, господа, и костюма подходящего нет...

– Ну, костюм-то мы вам подарим.

Кликнули денщиков и велели разложить

перед нею на выбор все женские платья, что заключались в сундуках, которые вырыли на-медни в саду под дубом. Долго выбирала старуха, пока не решилась нарядиться русской боярыней. Хороша боярыня! И смешно-то, и зло берет.

# Глава четырнадцатая

*Старая гвардия отличается. Муниципалитет. Французженки-торговки. Осквернение храмов. Парламентер у Кутузова*

Сентября 17. Грабеж все усугубляется. На столе у лейтенанта д'Орвиля усмотрел только что такой приказ – привожу его по-русски:

«В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, чем когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С сожалением видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, должныствующие подавать пример повиновения, дошли до такой степени послушания, что разбивают погреба и склады, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушают часовых и караульных офицеров, ругают их и избивают».

Герои Аустерлица! Львы Наполеоновы! Слышали ли вы про баснословных львов, что, будучи ввергнуты в общую яму, так меж собой перегрызлись, что одни хвосты остались!

Сентября 18. Под видом, что печется о благе обывателей московских, Наполеон со вчерашнего дня новое городское и полицейское управление завел, муниципалитетом именуемое. Начальником сего муниципалитета (натошак и не выговорить!), префектом, купец французский Лессепс назначен, который до войны французским консулом в Петербурге состоял и по-русски с грехом пополам маркует. Себе в помощь он с полсотни из здешних иностранцев на вербовал, а равно и из тех русских купцов, что остались еще в городе.

И вот зовет меня нынче лейтенант д'Орвиль.

– Ну, Андре, – говорит, – Лессепс сам тебя видеть хочет.

Я так и обмер.

– Да в чем я провинился? – говорю.

Рассмеялся.

– Ни в чем; напротив. Я рекомендовал ему тебя на должность полицейского комиссара.

– Помилуйте! – говорю. – Я не изменник своего отечества.

– Какой вздор! – говорит. – Ты только порядок водворять будешь в своем же отече-

стве. А жалованье тебе положат хорошее...

– Фальшивыми ассигнациями?

Вскипел.

– Придержи, – говорит, – свой язык! Ради молодости твоей на первый раз, так и быть, прощаю. Дадут тебе цветной шарф, на руку – белую повязку...

Чем прельстить вздумал!

– Ах, Боже мой! – говорю и за лоб схватился. – Ночью я окошко открывал... продуло... голову страшно ломит!.. Простите, я прилягу...

Убрался поскорее вон, голову себе мокрым полотенцем обвязал – и в постель.

Заглянул ко мне Пипо, а я только тяжело стоною. Полежу день, другой – авось, гроза и минет.

*Сентября 20.* С одра моей мнимой болезни Пипо меня силой поднял.

– Долго ли ты, – говорит, – валяться еще будешь? На вид совсем здоров...

– Голова, – говорю, – все еще трещит.

– На свежем воздухе живо пройдет. Идем-ка, идем! Увидишь, какой порядок наш муни-

ципалитет в городе навел – просто на удивление!

И точно: в каменных корпусах Гостиного двора иные лавки уже открылись; но стоят за прилавком не наши русские купцы и приказчики, а француженки, молодые и старые – откуда их и понабрали! Всяким суровским товаром, галантереей и бакалеей торгуют, любезно так зазывают, сладко так улыбаются, да и дешево, признаться, товар свой отдают, еще бы: самим гроша не стоил. Но деньги берут одной звонкой монетой – серебром да золотом: в ассигнациях своего императора, видно, тоже изверились.

– А белый хлеб тоже есть в продаже? – спрашиваю я у Пипо.

– Есть, – говорит. – Немцам-булочникам отдан приказ немедля открыть опять свои булочные. Но немцы выгоды своей тоже не упустят: за пятикопеечную булку два рубля берут. Нам, нижним чинам, не по карману; а офицеры одну булку меж собой на двоих делят.

Проходим мимо церкви.

– Войдем, – говорю. – Давно в храме Бо-

жьем не молился.

Вошел – и остолбенел: посреди храма весы висят, а кругом весов офицеры и солдаты толпятся, добычу свою взвешивают: серебряные подсвечники алтарные, паникадила, ризы с образов и иконостаса сорванные... Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!

Ни слова не промолвив, вон вышел. Пипо тоже как будто смутился.

– Мало ли здесь, в Москве, – говорит, – и других церквей.

Входим в другую. А там в самом алтаре лошади, как в стойле, стоят, ризами поповскими, вместо попон, покрытые. Алтарь в конюшню обращен!

В одном притворе сено свалено; снопы ржаные и овсяные; в другом – кочаны капусты, морковь, репа, картофель. Тут же на каменных плитах костер разведен – не дровами, а рамами от святых икон! Поваренок-французик в бумажном колпаке похлебку в котле деревянной ложкой мешает, а повариха-француженка около на табуретке сидит и платье себе кроит из ризы поповской.

Натура у меня кроткая, незлобивая, но тут

желчь поднялась, слеза прошибла.

– И все сие, – воскликнул, – творится с ве-  
дома, а может, и по повелению вашего импе-  
ратора?

– Тсс! – цыкнул на меня Пипо. – Услышат  
другие, так ни тебе, ни мне несдобровать.

И вывел меня вон на улицу. А там, как на-  
рочно, сам навстречу нам со свитой: драго-  
ценного здоровья своего ради, ежедневную  
прогулку верхом совершает. Пипо – во фронт,  
да как гаркнет:

– Да здравствует император!

Вспомнилось мне тут, что и я-то ведь в их  
солдатской форме и – каюсь – струхнул, тоже  
руку к козырьку приложил. Не заметил он,  
что я его ни единым звуком не приветство-  
вал, и, обоим нам кивнувши, дальше просле-  
довал.

О, буди при мне в сей момент заряженное  
ружье, пистолет – за себя не отвечаю...

*Сентября 22.* К Наполеону в Кремль приез-  
жал адъютант короля неаполитанского Мю-  
рата. Клянёт и казаков, и Милорадовича, и  
Кутузова. Казаки, вишь, и фуражиров пере-

хватывают, и на лагерь Мюратов нападают: день и ночь будь начеку, и лошадей держи замуштрованными; к утру, как мукою, инеем покрыты. У самого адъютанта щека повязана, в ушах вата.

– Насквозь простужен, – говорит. – Хоть бы пищей согреться, а то конина в горло уж не лезет; вместо сала или масла – сальные свечи, вместо соли – порох. От пороха – неутолимая жажда, а от сырой воды – расстройство желудка.

Милорадович же, точно на смех, разъезжает по своим аванпостам сытый, на сытом коне, а встречаясь на линии с Мюратом, почтительно раскланивается и участливо спрашивается, хорошо ли тот себя чувствует.

– Прекрасно! – отвечает Мюрат, а сам зубами скрежещет, в душе его ко всем чертям посылает.

Вдобавок казаки вчера захватили в плен его начальника штаба, генерала Ферье. А без Ферье он как без рук. Просил Кутузова отпустить пленника на честное слово, но получил отказ. Вот и прислал своего адъютанта к Наполеону, чтобы от себя уж отправил к Кутузо-

ву парламентарера.

*Сентября 23.* Парламентарем поехал генерал Лористон под видом якобы размена Ферье и других пленников, но на самом-то деле, чтобы закинуть словечко о мире. Круто, видно, приходится!

Начал Лористон с жалобы на русских крестьян и казаков, расправляющихся по-своему с французскими фуражирами.

– Такой образ войны, – говорит, – противен всем военным постановлениям просвещенных наций.

А Кутузов казанской сиротой прикинулся, расслабленным старцем.

– Ваша правда, генерал, – говорит и вздыхает. – Но крестьянами, простите, я не командую.

– А казаки – люди военные и тоже никаких правил признавать не хотят...

– Ох, уж эти казаки, казаки! Я и сам не рад, да что с ними поделаешь? Иррегулярное войско!

– Так зачем же тогда воевать, ваша светлость! Не лучше ли помириться?

– О! – говорит светлейший и платком глаза утирает. – Скажите, генерал, вашему императору, что я плачу, что самое горячее желание мое – мир заключить; от его великодушия зависит благополучие моего бедного отечества, всего русского народа.

Лористон духом воспрянул.

– Ваша светлость, значит, готовы хоть сейчас прекратить войну?

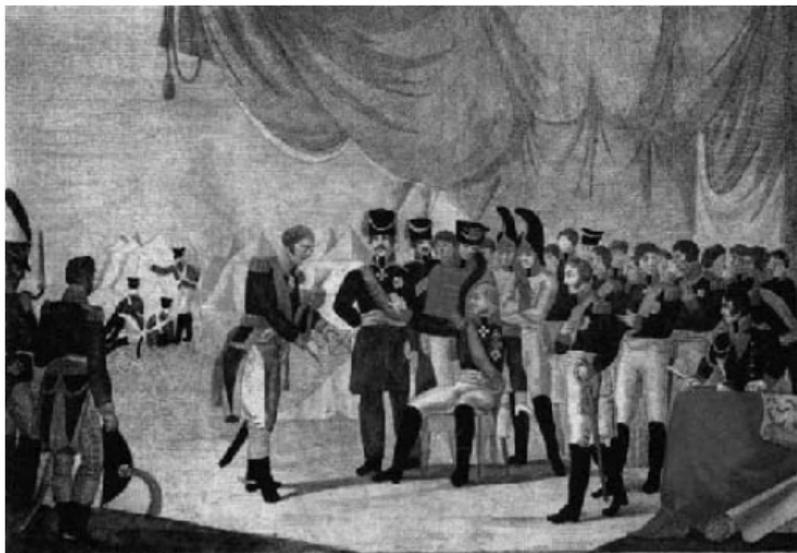
– Я-то?.. О да, хоть сию минуту. Только вот государь мой строго-настрого запретил мне произносить слово мир, пока армия ваша не покинула пределов России.

– Однако послать от себя курьера к императору Александру с предложением наших мирных условий вы ведь не откажетесь?

– Сегодня же, извольте, отправлю нарочно-го.

И курьер послан. Французы по всей Москве не могут скрыть своего восторга: прыгают, как дети, обнимаются, целуются; всем испытаниям их ведь конец!

Подлинные дети: поверить, что Кутузов, сподвижник Суворова, пойдет на мировую без всякого сражения, когда их армия с каж-



дым днем все больше расстраивается. Я этому не верю! У него это военная хитрость: он усыпляет неприятеля, чтобы потом сразу нагрянуть.

# Глава пятнадцатая

*Новый побег. Мальчик в бочке с медом. Опять острожники. Казак Свириденко*

Сентября 27. Не дано мне, знать, выбраться из вражьего стана – заколдованный круг.

Вчера господа офицеры были опять в театре; денщики тоже разбежались; остался один Фортюне ради призора не то за домом, не то за мною. Ушел я в свой угол будто бы спать. У самого же одно на уме: не удастся ли наконец улизнуть?

А Фортюне, уроженец Шампани, до родного напитка большой охотник. Приходит ко мне, зовет распить бутылочку шампанского: сэкономил-де со стола офицеров. Я отговорился нездоровьем, а сам прислушиваюсь: что-то будет? Слышу: в столовой пробка хлопнула; потом веселую песенку затянул мой шампанец. Все тише, тише. Замолк.

Подождал еще с полчаса. Та же тишина; только из столовой словно храп доносится. Тихонько приподнялся, подкрался к двери в столовую. На столе нагоревшая свеча и пу-

стая бутылка из-под шампанского; а на стуле перед бутылкой Фортюне: руки на край стола сложил, голову на руки и храпит на всю Ивановскую.

Была не была! Не прошло и пяти минут, как я был на улице – на сей раз уже с дневником за пазухой.

Был восьмой час вечера; но в конце сентября с шести уже темнеет. В первый побег мой ночь была светла как день, от зарева пожаров. Теперь нигде уже не горело; на небе хоть и вызвездило, но луна еще не восходила, а на уличные фонари преславленным Наполеоновым муниципалитетом масло еще не отпущено, да и фонарщики, пожалуй, разбежались. Не падай там и сям на улицу свет из окон, можно было бы с прохожими лбами столкнуться. Так как я был во французской солдатской форме, то остановить меня никому и на ум не приходило.

Мостом через Москву-реку перебрался я в Замоскворечье; иду себе куда глаза глядят. А кругом мерзость запустения: Замоскворечье с его деревянными домишками чуть ли не сплошь выгорело.

Вот и городу, кажись, конец; заборы, пустыри и огороды потянулись. В потемках по лужам шлепаю.

Тут кто-то навстречу плетется да как взвизгнет по-бабьи:

– Господи Иисусе Христе! Француз!

– Не бойся, матушка, – говорю, – я свой же, русский.

– Русский? А почто же на тебе амуниция как бы французская?

Объяснил.

– Так, так, – говорит. – Да куда идешь-то?

Сказал.

– Э, миленький! – говорит. – Отселе ты прямехонько в лапы к ним угодишь.

– Да где же, – говорю, – в какую сторону наше русское войско?

– Уж того, прости, сказать тебе не умею. А тебе, бедненькому, значит, негде и голову приклонить? Эка беда какая! Ну, да что ж, на одну-то ночку до утра, так и быть, у себя приютим. Живу я со стариком-дедом да сыночком; муж в ополчение ушел. Только угостить тебя, кроме картошки, прости, нечем. Сейчас вот только у соседа-огородника мешок кар-

тошки выпросила.

И пошел я с нею. А она о нуждах своих плачется, рада хоть перед чужим человеком душу отвести.

– Ономясь, – говорит, – когда еще ряды горели, ходили мы с сынишкой за товаром: купцы бедным людям все задаром ведь отдавали. Ни хлеба, ни муки для нас уже не нашлось. Но тут Господь Бог нам на Москве-реке мокрой пшенички послал. Барка, вишь, с грузом хлебным на реке тоже загорелась и ко дну пошла. Ну, народ за пшеничкой и ныряет.

– Да неужто – говорю – и ты с другими нырять пошла?

– Куда уж мне, бабе! Но Сенька мой, даром что мальчуган, а шустрый, лихой нырок. И на хлеб-то, и на блины целый мешок нам вынырял.

– В рядах вы, стало быть, ничего съестного уже не раздобыли?

– Все, что посытнее, эти супостаты еще до нас растаскали. Заходим в бакалейную, а там, глядь, хваты в этаких шапках с длинными гривами уже орудуют. «Бонжур, – говорят, – мамзель!» – «Не мамзель, – говорю, – а ма-

дам. Вот и парнишка мой». Поняли. «Карашо, мадам, карашо» – говорят; один в щеку его ущипнул, другой ему пригоршню каленых орехов сует. Сенька же у меня сластена, в кадку с медом всей пятерней уже залез. Как схватит его тот за ноги да вниз головою в кадку; сам, баловник, хохочет-заливается, и товарищи его тоже. А мед-то вязкий; еле-еле я мальчишку из кадки вытащила. И смех и грех: вся голова в меду, волоса в одно слиплись, и глаза-то, и нос, и уши залепило. Уж мыла я потом его в реке, отмывала...

Рассказывает баба и сама уже смеется-фыркает, и я с нею смеюсь, хоть самому и не до смеха.

Доплелись мы так до ее лачужки. Выско-чил тут к нам ее Сенька, мальчишка лет этак девяти.

– Что, мамка, достала хлебушка?

– Хлебушка, родимый, нетути; а вот картошки мешок.

– Дедка! Дедка! Мамка картошки принесла и француза с собой привела.

Слез и дедка с полатей, глядит на меня грозно, бесстрашно.

– К сатане его на колена!

– Не француз он, – говорит баба, – от них же побег.

Стал старик тут меня допытывать, ратный ли я человек.

– Сам, – говорит, – тридцать пять годов в солдатах под Суворовым протрубил.

И пошел повествовать про былые времена, про великого Суворова.

– Вот и Кутузов – такой же суворовец, – говорит, – не устоять супротив него этому Бонапарту, помяни мое слово!

– А Москву-то, – говорю, – как-никак почти всю уже спалили.

– Жаль-то, жаль ее, матушки – говорит – да нет худа без добра: обстроится, небось, краше прежнего. А баре, пока что, хочешь не хочешь, в поместьях своих год-другой поживут, и крестьянам оттого польза будет.

– Какой ты, дед, умный, рассудливый.

– Мы, внучек, – говорит, – хоть и в лаптях ходим, а на три аршина в землю видим.

Тем часом хозяйка нам и картошку сварила. Воздали честь картошке, а там и спать завалились, – те на полатях, а я на лавке, да как

убитый до утра проспал.

Поутру снова в путь-дорогу, но уже обратно в город. Прежние опять улицы и переулки.

Вдруг – владыко всемилостивый! – мимо меня острожников гонят, да тех же самых, у коих в логове я намедни побывал, по страшилищу-эфиопу Мирошке сразу их опознал. К забору прижался, пока минуют. Ан и Мирошка меня уже заприметил:

– Старый знакомый! – кричит мне и рукой машет. – Ну и хитер же ты, как погляжу: французом обрядился!

Тут унтер конвойный, капрал, меня к допросу:

– Какого, мол, полка? Где с ними спознался?

Только рот я раскрыл, как ломаная речь моя меня уже и выдала.

– Э! – говорит. – Да ты сам никак русский?

– Русский, – говорю и стал было оправдываться.

Но он и слушать не хотел.

– Запанибрата с разбойниками, – стало, и сам разбойник. Забирай его!

И забрали меня, раба Божья. А моим «ста-

рым знакомым» то и любо – еще издеваются:

– Нашего полку прибыло!

Тут вдогонку за нами кто-то скачет, гикает.

Оглянулись конвойные, оторопели:

– Казак! казак!

А казак уже налетел, пикой своей одного из них приколол, другого... Но капрал изловчился, тесаком его по правой руке хватил. Опустилась рука молодецкая. А коню его четвертый конвойный штык в грудь всадил. И грохнулся конь, а с конем и всадник. Не успел казак приподняться, как тот же конвойный прикладом по башке его ошеломил.

Острожники меж тем врассыпную наутек пошли. Пустился было и я бежать, да встречный взвод французский меня задержал. Двоих острожников тоже воротили, связали. Очнулся и казак, да руки за спину скручены. И погнали нас вперед, а приколотых конвойных товарищи на руках понесли.

Долго ли, коротко ли, доставили нас и до места – некоего казенного здания. Вышел на двор к нам офицер, выслушал доклад капрала и наши имена записал. Казак Леонтием Свириденко назвался, я – Андреем Смоленским. И

звергли нас в подвал, в коем десятка два с лишком таких же узников уже томилось.

– Здорово, други любезные! – говорит им Свириденко. – Знать, тоже решения себе ожидаете?

– Какое уж тут решение! – говорят. – Над всеми смерть неминуемая висит.

– Ну что ж, на миру и смерть красна. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Да князь Кутузов нас, даст Бог, еще выручит. Слыхали ль вы, братцы, самоновейшую песню солдатскую про светлейшего?

– Не слыхали, – говорят.

– Так вот слушайте. По всему лагерю ее уже распевают.

И запел он ту песню, а я, чтобы не забыть, тут же записал:

*Хоть Москва в руках французов,  
Это, право, не беда!  
Наш фельдмаршал князь Кутузов  
Их на смерть впустил туда.*

*Вспомним, братцы, что поляки  
Встарь бывали также в ней;  
Но не жирны кулебяки —  
Ели кошек и мышей.*

*Свету целому известно,  
Как платили мы долги,  
И теперь получают честно  
За Москву платеж враги.*

*Побывать в столице – слава!  
Но умеем мы отмщать:  
Знает крепко то Варшава,  
И Париж то будет знать!*

# Глава шестнадцатая

*Партизаны Фигнер и Давыдов*

Сентября 28. Душа-человек этот Свириденко! Своими рассказами про житье-бытье казачье всех нас, узников, как живой водой опрыснул. Наполеон у него ворона: «не вороны-де клюву рябину клевать»; французы – то «хранцузы», то «францы-хранцы»; сам же он – партизан из донских казаков. Партизанских отрядов, дескать, теперь уже много: Фигнера, Давыдова, Сеславина, Кудашева, Вадбольского. Вольными птицами охотятся за всякой зловредной мошкаррой: неприятельских фуражиров и мародеров ловят, курьеров перехватывают, отбивают транспорты, забирают пленных.

иллюстрация вставлена временно должны тут быть партизанен давыдов(?)

Еще с месяц назад Свириденко служил под атаманом донцов, графом Платовым; да партизан Фигнер его к себе переманил.

«Стояли мы тогда, братцы мои, – рассказывает Свириденко, – недалече от подмосковно-



го села Леташовки, где сам фельдмаршал наш в крестьянской избе проживал. Там же, только на другом конце села, квартировал генерал Ермолов. Умаялся Ермолов за день, прилег уже соснуть, накрылся буркой, как вдруг к нему вестовой:

– Ваше превосходительство! Офицер один вас спрашивает.

– Какой офицер?

– Чужой, не нашего корпуса.

– А фамилия?

– Фамилии не сказывает.

– Что же ему нужно от меня?

– Не могу знать. По тайному, мол, самому нужнейшему делу.

– Ну, проси.

Входит офицер.

– Честь имею представиться, – говорит, – штабс-капитан Фигнер. Человек семейный: жена, дети, а кормить нечем. Так вот, – говорит, – мною замышлено отважное дело. Выгорит ли – одному Богу известно. Но буде мне суждено погибнуть, то смею ли, ваше превосходительство, надеяться, что отечество осиротевшую семью мою обеспечит?

– Истинные заслуги перед отечеством не остаются без награды, – говорит Ермолов. – Но в чем ваш замысел?

– Замысел мой, – говорит, – пробраться к виновнику сей войны и одной пулей положить конец и ему, и войне.

– Да вас туда не пустят!

– Попытаюсь. Терпеть те неистовства, что чинят враги в наших городах и селениях, долее не могу. Прошу только дать мне на выбор восемь человек казаков.

– На свой страх взять это необычайное де-

ло, – говорит Ермолов, – я не решаюсь. Доложу фельдмаршалу.

Тут же опять оделся, пошел на другой конец села к избе светлейшего, велел разбудить старика.

– Да что он, этот Фигнер, не сумасшедший? – спрашивает Кутузов.

– Не похоже. Так как быть прикажете?

Покачал головой фельдмаршал и рукой махнул:

– Христос с ним! Пускай берет себе восемь казаков на общем основании партизанов.

Вот Фигнер и выбрал нас, казаков, восемь человек».

– А что же, – говорим мы, – в Кремль к Наполеону он все же так ведь и не пробрался?

– Где уж! Не раз бывал и у Кремля, францем-хранцем переряженный, с часовыми заговаривал – говорит-то по-ихнему как свой человек – да старая гвардия, пуще каменной стены кремлевской, императора своего стережет-бережет. Ну, и стал он тут партизаном, в неприятельский лагерь в образе ихнего офицера забирается, от них же, неприятелей, выведывает, что у них да как, а улягутся спать,

он среди сна со своими казаками и нагрянет – то-то переполоху наделает, – смехота да и только! Имени его, Фигнера, слышать уж не могут, крупную цену за голову его положили.

– Ты, стало, все при нем же и состоишь?

– Нет – говорит – недели две назад к другому перешел: такой же партизан, подполковник Давыдов.

– С чего ж ты это? Ведь Фигнер, говоришь ты, и ловок, и храбр?

– Храбр-то он как черт, но и в лютости черту не уступит. Заберет, бывало, партию пленных, расставит в ряд да из пистолета сам же их с одного фланга до другого хлоп да хлоп. Просят те поскорей хоть их прикончить, чтобы им не видеть, как товарищи умирают; а он, не спеша, для каждого свой пистолет снова заряжает: поспеете, мол, в царствие небесное.

– Подлинно, что дьявол! Еще потешается над беззащитными, безоружными...

– То-то вот. Как пришел тут запрос, не желаете ли кто под Вязьму в партизанский отряд к Давыдову: требуется-де ему еще 600 человек – я с другими и вызвался.

– Под Вязьму? Да в Москву-то ты оттоле как попал?

– А Давыдову понадобилось к светлейшему рапорт о своих действиях доставить. Меня и командировал.

– Так ты, что же, теперь к Кутузову только ехал или уж обратно к своему Давыдову?

– Обратно. Да нечистый попутал! Приятели-казаки, вишь, на прощанье меня угощая, давай похваляться, что в гостях у Бонапарта побывали: проскакали-де до самого Кремля с гиком да криком, такого страху на францев нагнали, что те, как воробьи перед коршуном, во все стороны рассыпались. За живое меня схватило. «Дай-ка, – думаю себе, – проскачу тоже этак через всю Москву». Поскакал, да на партию пленных наскочил. Как своих от воробьев не отбить? Ан воробьи коршуна заклевали...

*Сентября 30.* Четвертые сутки в подвале. На 26 человек ведро воды да по фунту ржаного хлеба на брата. Ни стула, ни скамьи, ни соломы. Сидим, лежим на голом полу. Чтобы отогреться и голове мягче было, ложимся

вплотную друг к дружке, а голову соседу на плечо кладем. Сам я около Леонтия Свириденко укладываюсь, и возлюбил он меня, как брата меньшого: есть у него брат на Дону тоже на возрасте. А как я взаперти скучаю и тоскую, то он меня разговором своим всячески развлекает, особливо про теперешнего командира своего, Дениса Васильевича Давыдова.

В родителя своего пошел Денис Васильевич: командовал тот Полтавским конным полком и сынка семи лет уже взял к себе в солдатскую палатку. Там, в лагере, благословил мальчика сам Суворов.

– Любишь ли ты солдат, друг мой? – спросил его Суворов.

А он в ответ:

– Люблю графа Суворова: в нем все – и солдаты, и победа, и слава!

– О, помилуй Бог, какой удалой! – сказал Суворов. – Это будет военный человек. Я не умру, а он уже три сражения выиграет!

Сам-то Денис Васильевич не казак, а гусар. В первую войну с французами был адъютантом у Багратиона. Сражался потом и со шве-

дами, и с турками.



Денисъ Васильевичъ Давыдовъ.

Изъ гравюры Добрыя, сдѣланной съ портрета Оулевскаго.

Когда тут возгорелась нынешняя кампания, он был уже подполковником Ахтырского гусарского полка. Но партизанская служба его тем прельщала, что в ней над собой у него нет прямого начальства. И вот с конца авгу-

ста месяца он держит неприятеля в непре-  
станном страхе по большой Смоленской доро-  
ге около Вязьмы, делает поиски фуражиров,  
перехватывает транспорты и целые коман-  
ды...

– И поверишь ли, – говорит Свириденко, –  
что на биваке, что на коне – еще вирши слагает  
да так складно, что любо-дорого!

Сочинитель, стихотворец! Быть может, но-  
вый еще Ломоносов, Державин?

# Глава семнадцатая

*Последнее утро. Казачья отповедь «францам-хранцам» и предсмертная просьба. Мушерон-заступник*

Октября 1. Дамоклов меч! Приносит нам нынче дежурный солдат хлеба и воду:

– Ну, – говорит, – в последний раз.

– Как, – говорю, – в последний? А завтра что же?

– Завтра...

Жалостливо таково взглянул на меня, на других и вон пошел. У меня от ужаса волосы на голове шевельнулись.

– Слышали, братцы? – говорю.

– А что? – говорят. – Нешто мы по-ихнему разумеем?

– Завтра нам ни хлеба, ни воды уже не будет; значит, и самих-то нас на свете не будет!

Хоть никому и не верилось, что жизнь ему подарят, но утопающий хватается за соломинку, и у каждого теплится еще луч надежды. Теперь этот луч у всех погас, и одни давай проклинать судьбу свою, Наполеона и фран-

цузов, другие головой поникли и крестились. Не пал духом один только Свириденко.

– Планида нам, братцы вы мои, такая, стало, вышла, – говорит. – Промеж жизни и смерти и блошка не проскочит.

– Да неужели тебе, Леонтий, – говорят, – не страшно на тот свет со всеми грехами твоими предстать?

– Несть человека без греха, токмо един Бог, – говорит. – Вершил в свою голову – ну и казнююсь, на милость Всевышнего уповаю. «Радость бывает, – сказано – на небеси и о едином грешнике кающемся». К уходу же из земной юдоли изготovitься всякому должно. Поди-ка сюда, Андрюша.

Отвел меня к решетчатому оконцу и голос понизил, чтобы другим не слышно было.

– Друг ты мой сердечный, – говорит, – мил ты мне стал, что по плоти сродник...

– И ты, Леонтий, мне тоже, – говорю.

– Ну, вот. Так выбрал я тебя для последней моей воли. Памятуючи Страшный Суд, исполнишь ли ты сию волю мою в точности?

– Вот тебе Никола Святитель...

– Ладно. Ты – малый ведь грамотный? Дал

мне фельдмаршал Кутузов ответное письмо к командиру Денису Васильичу Давыдову. Меня францы, знаю, ни в коем разе не помилуют. Ты же, яко агнец безгласный, ведом на заклание; тебя чаша смертная, даст Бог, еще минует.

Говоря так, снял он с ноги сапог, развернул онучу и оттуда сложенный лист бумаги мне подал.

– На-ка, прочитай, только чур, про себя. Что тут написано – и мне не ведомо, да и знать не надлежит.

– Так как же ты мне-то, – говорю, – читать даешь?

– Читай, не разговаривай!

Стал я читать.

– Ну что, – говорит, – разбираешь?

– Еще бы: писано четко писарской рукой.

– Ну, ну, читай, да не торопись, чтобы до последнего слова все запомнить.

Дочитал я, вдругорядь перечел.

– Ну что, запомнил?

– Кажись, да.

– «Кажись!» Нет, голубчик, прочитай-ка еще в третий раз да, как урок в школе, сам се-

бе ответь.

Перечел я и в третий раз, память-то у меня крепкая – от начала до конца без запинки себе повторил.

– Теперь знаю, – говорю, – наизусть, как Отче наш.

– И благо.

Отнял у меня бумагу и на мелкие кусочки изорвал.

– Так-то вернее, – говорит. – У тебя еще отобрали бы, а что в памяти схоронено, того никто уже не отберет. Так вот, слушай мой наказ: будешь на воле, первым делом постарайся на Смоленскую дорогу к Денису Васильичу добраться. Доберешься – с глазу на глаз передашь ему от слова до слова то, что сейчас прочитал. Понял?

– Все старания приложу.

– И в тетрадку свою, смотри, из тех слов ни единого не заноси.

– Зачем заносить, коли в мозгу все вписано?

– То-то же. А то, не дай Бог, еще кто прочитает. Да вот еще что: оставлена у меня на Дону жена и детки. На Дон к ним тебе, вестимо,

не добраться. Но в Дениса Васильича команде есть у меня земляк, из одной же станицы, по имени Семен Мандрыка. Запомнишь?

– Семен Мандрыка? Не забуду.

– На всяк случай в тетрадку запиши. Ему-то вот и расскажешь все про меня, а он уж, как восвояси на Дон соберется, поклон по-смертный мой семейке моей отвезет.

И занотовал я себе для памяти оного Семена Мандрыку. А про то, что прочитал в ответном письме кутузовском, хранение устам кладу – ни единого слова, на случай, что сия тетрадь кому-либо в руки попадет.

*Октября 2.* «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?»

Еще на рассвете вывели нас всех, 26 человек, из подвала.

– Братцы вы мои, – говорит Свириденко. – Смертный час наш пробил. Перед Богом все мы грешны, перед смертью все равны. Распрощаемся же как братья да не помянем друг друга лихом.

И перелобызались мы все меж собой со щетки на щеку, и погнали нас из города в чисто

поле. Все примолкли, в землю очи потупили; один только казак мой идет бодро-весело, солдатскую песню про светлейшего напевает:

*Хоть Москва в руках французов,  
Это, право, не беда!  
Наш фельдмаршал князь Кутузов  
Их на смерть впустил туда...*

– С ума казак со страху спятил! – толкуют меж собой конвойные.

– Про меня они, что ли? – спрашивает Свириденко.

– Про тебя, – говорю, – что со страху, мол, бодришься.

– Ах вы, францы-хранцы глупые, безмозглые! Казак Леонтий Свириденко да чтобы смерти устрашился? Вы за что деретесь? За золото-серебро, за звездочку да за своего Бову Королевича. Мы, казаки, за дом свой, за жену да детей деремся, за царя и веру православную. Гляньте-ка, как живут казаки на святом Дону: подыметя парень на ноги – уж сидит он на коне борзом, скачет по полю, забавляется, копьём острым потешается, силы-крепости набирается, чтобы с неприятелем поразведаться, умереть за землю русскую. Придет

время добру молодцу, по приказу царя белого, собираться в путь на нехристей – наш казак того только и ждал. Молода жена коня его ведет, дети саблю и копье несут, а старик-то со старухой – избави Боже, чтоб заплакали. Заведут сына во зеленый сад, перекрестят до Троицы и дадут ему Ангела-Хранителя. «Ты служи, сын, верой-правдою; добывай себе славы-почести, нас утешь ли, стариков седых». У старухи все уж уготовано: сшита сумочка из бархата, из того, что сорвал муж с плеч паши турецкого, а повешена та сумочка на шелковом, тонком поясе красной девушки-черкешенки. Как берет старик тут горсть сырой земли, кладет в сумочку ту бархатную: «Вот тебе, сын, благословение, вот земля тебе от Дона тихого: с ней живи весь век свой и умри на ней»...

Слушаем мы все казачью отповедь конвойным – заслушались; слушают и сами конвойные – переглядываются, плечами пожимают.

А вот мы и в поле. Общая для всех нас яма на сон вечный уже вырыта, перед ямой столб водружен. Против столба взвод стрелков под ружьем стоит, с флангу юный сулейтенант –

по-нашему подпоручик – с бумагами в руках, а в стороне заслуженный толстяк-майор с саблей наголо...

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Не вниди в суд с рабом Своим...

– Г-н сулейтенант! Сделайте переключку, – говорит майор.

Тот по списку всех 26 человек выкликает, а у самого голос так и звенит. Все налицо.

– Теперь прочитайте им приговор.

Принимается тот читать, весь как полотно побледнел, словно собственный свой приговор читает; голос обрывается, подбородок трясется, бумаги в руках ходуном ходят.

Гляжу я на него, слышу его голос, но, как в беспамятстве, слов его в толк не возьму. В глазах мутится, колени подгибаются...

– Сержант! – кричит майор. – Смотри-ка: малый сейчас упадет.

Сержант подхватывает меня под руки, и кого же тут я узнаю в нем? Сержанта Мушерна, с коим не виделся с достопамятного Бородинского боя! И он тоже признал меня:

– Андре! Мон пти буржуа!

Подошел к майору, тихонько ему что-то

рапортует.

– Нет, нет! – говорит майор. – Приговор императором уже конфирмован.

Мушерон мой, однако, не унимается:

– Помилуйте, г-н майор! Ведь он решительно ни в чем не повинен. Лейтенант д’Орвиль вам подтвердит, что взял его с собою из Смоленска. Передоложили бы вы генералу Бертье...

Закряхтел толстяк: очень солоно ему, видно, иметь дело с главным адъютантом Наполеона.

– Все равно ведь, – говорит, – ни к чему.

– По крайней мере на душу себе г-н майор греха не возьмет.

– Ну, хорошо. Отведи его в сторону.

– Постой, друг! – кричит мне тут Свириденко. – Тебя никак простили?

– Простить еще не простили, – говорю, – отсрочку дают, доколе не передопросят.

– А передопросивши, смилуются. Скажи же им, что я казацкую одежду мою тебе оставляю: в могилу со мной лишь бы ладунку с землей родной положили.

– Что у них там еще, Мушерон? – кричит

майор.

– Так и так, – говорю.

А Мушерон:

– Смею доложить г-ну майору: казаком одеться ни один француз все равно не захочет; французская же форма этого мальчика кому-нибудь из наших еще пригодится.

– Хорошо, – говорит майор. – Отведи-ка его подальше, чтобы обморока с ним опять не случилось.

И отвел меня мой заступник за ближайшую погорелую избу. Присели мы на обугленное бревно и выжидаем. Вот ружейный выстрел, вот другой, третий и т. д.

– Двадцать пять! – сосчитал Мушерон и поднимается с бревна.

Слезы ручьем у меня из глаз.

– Ну, ну, ну! – говорит Мушерон. – Правосудие того требовало. Благодарю Бога, что сам еще на земле, не под землей, и солнце на тебя светит.

Не могу больше писать: сил нет... До завтра.

# Глава восемнадцатая

*Доктор Ларрей возмущается. Резолюция генерала Бертье*

Октября 3. Платье Свириденкино примерил. За лето почти до его роста вытянулся; в плечах да в груди только мешковато; зато просторно. Спасибо, душа-человек! Вечная тебе память!

Было уже за полдень, когда мы с толстяком-майором – фамилии его не знаю – и Мусероном входили в кремлевский дворец. В приемной толпа блестящих генералов и штатских сановников в парадных мундирах и напудренных париках. Перед закрытою дверью на часах два великана-гренадера. Дежурный офицер нам навстречу.

– Что вам угодно-с?

– Мне генерал-адъютанта Бертье, – говорит майор.

– Генерал с докладом у императора. Г-ну майору придется свою очередь выждать.

Стали мы в очередь. Тут растворяется с шумом дверь из внутренних покоев, и выбегает

впопыхах пожилой господин, красный, как из бани. За ним паж, приглашает за собой очередного; другие же обступают красного господина.

– Что с вами, г-н барон? Что вас так взволновало?

Теперь и я его узнал: императорский генерал-штаб-доктор барон Ларрей.

– Да как тут, господа, не волноваться! – говорит он и, быку разъяренному подобно, глазами вращает.

– На руках с лишком две тысячи тяжелораненых – бросай их на произвол неприятеля!

– Как так? Почему?

– Да потому, что тащить их с собой через всю Россию и Германию до Франции, извольте видеть, лишняя обуза.

– Что вы говорите? Мы уходим? И без сражения? Быть того не может! Никогда того еще не бывало!

– Не бывало, а вот теперь дождались. Уф! В себя еще все не могу прийти...

– Да говорите же, г-н барон, говорите: что у вас там с императором? Или это государственная тайна?

«Какая уж тайна: не нынче завтра все равно всему свету известно станет. Доставили мне в лазарет умирающего русского офицера. Всякий пациент – француз он или русский – для меня не друг и не враг, а мой ближний, нуждающийся в моей врачебной помощи. У этого пуля задела сердце и застряла в легких. Все, что можно было сделать, это унять хоть несколько боль, пока не истечет кровью. Час тому назад он мне и говорит:

– Свеча моя, я чувствую, догорает. Скажите же мне на совесть, доктор: скоро ли конец?

– А вам, – говорю, – на что знать? Если вам надо сделать еще какие-нибудь семейные распоряжения, то, действительно, не мешало бы поторопиться.

– Семейства у меня, к счастью, – говорит, – нет; родители померли; я совсем одинок.

– Так на что же вам?

– А на то, чтобы спасти еще вовремя от верной смерти тысячи здоровых людей. Много ли дней мне еще жить?

Вижу, что молчать уже не приходится.

– До ночи, надеюсь, – говорю, – еще доживете.

– Значит, каждая минута дорога. Дайте же совет вашему Наполеону уходить поскорее из Москвы: мира с нашей стороны он никогда не дождется.

– Почему же нет? – говорю я на то. – Ведь князь Кутузов уже две недели назад отправил в Петербург к императору Александру курьера с письмом от нашего императора.

Больной мой горько улыбнулся.

– С тем письмом, – говорит, – что г-н Лористон доставил нашему фельдмаршалу?

– Ну да, – говорю. – И курьер, действительно, повез письмо в Петербург: наши аванпосты задержали его по дороге и нашли при нем письмо.

Больной опять усмехнулся.

– Ах, доктор, доктор! Что вы так просты – не диво: вы – человек науки и не от мира сего. Но что столь опытный полководец, как наш Наполеон, попался на такую удочку – удивления достойно. Курьер с тем письмом был отправлен по большому тракту с нарочитою целью, чтобы его по пути перехватили и ожидали ответа из Петербурга; а в то же самое время другой курьер поскакал окольным путем и

повез другое письмо о том, чтобы государь наш не принимал никаких условий и вообще ничего не отвечал на первое письмо, так как Наполеон, зазимовав в Москве и не имея ни дров, ни припасов, до весны наверно погибнет со всей своей армией от холода и голода».

Тут вся толпа вокруг Ларрея зело возмутилась.

– Уж этот Кутузов! Старая лиса! Чтобы его громом убило!

А меня так и подмывало сказать на то: «А ля герр ком а ля герр!»

– Ну, а дальше-то что же, г-н барон, – говорят, – дальше что?

«Дальше спрашиваю я моего больного, как это он, офицер русской службы, выдает мне, неприятелю, тайну своего главнокомандующего. Ведь я, по долгу верноподданного, обязан сообщить ее моему императору.

– Затем-то, – говорит, – я вам и выдал. Теперь я уже не воин, а умирающий, такой же мирный, как и весь наш народ русский. Что за польза, что за радость доброму христианину, что полмиллиона чужого народа ляжет в могилу? Уходите себе с Богом, живите у себя

дома для своей родины, для своей семьи, пока сам Господь не призовет вас к себе. И наших русских сохраняется точно так же многие тысячи от насильственной смерти, никому не нужной, кроме вашего Наполеона.

– Так-то так, – говорю я ему на это, – и вашу христианскую точку зрения я, мирный человек, прекрасно понимаю. Но император Наполеон – военный гений: воюет он не ради одной только своей военной славы, но и ради блага человечества – для насаждения в чужих странах истинного просвещения, а Россия ваша – страна варварская...

Тут, господа, мой пациент стал возражать мне такими убийственными резонами, что я не решаюсь даже повторить их. Его величество, которому я счел, однако, долгом передать все дословно, до того на меня разгневался...»

Но отделаться таким образом Ларрею уже не дали: к нему пристали со всех сторон:

– Говорите, г-н барон, говорите! Раз начали, так договаривайте. Какие резоны могли быть еще у вашего пациента?

– А вот какие: «Когда Наполеон, – гово-

рит, – сражался под пирамидами, он чтит веру туземцев-мусульман, оказывал муллам их всякие поблажки, так что они уже думали, что он сам готов принять ислам. В Германии он уважал одинаково религию как католиков, так и протестантов. А вступив в Россию, он точно забыл, что русские веруют в того же Христа, храмы наши обращает в конюшни, своим солдатам не препятствует срывать ризы со святых икон. Начиная настоящую кампанию, он не дал себе даже труда мало-мальски изучить нравы и характер русского народа и вводит у нас такие порядки, которые для нас, русских, вовсе не пригодны. Мудрено ли, что русский народ, по природе добродушный и миролюбивый, вспылал к нему и ко всем французам горячею ненавистью? Скажите же ему, что своим «просвещением» он русских никогда не примирит, не просветит, а сам себе только роет могилу».

– И все это, г-н барон, вы имели смелость передать его величеству?

– Молчать я не мог, не считал себя вправе.

В это время из внутренних покоев в приемную вошел преважный генерал; это дол-

жен был быть сам Бертъе, потому что все разом двинулись к нему с поклонами.

– Потом, господа, потом! – отмахнулся он и обратился к Ларрею. – Вы еще здесь, г-н барон? Его величество желает снова переговорить с вами.

Вслед за Ларреем он хотел вернуться также к своему императору. Но толстяк-майор загородил ему дорогу:

– Одно слово, г-н генерал.

И, указав на меня и Мушерона, он стал ему что-то нашептывать. Бертъе хмурился, сердито на нас обоих посматривал; потом кивком подозвал меня к себе.

– Вы в самом деле из Смоленска?

– Из Смоленска. Против своего желания служу переводчиком.

– С вами, простите, вышла маленькая ошибка...

С сердцов так бы ему даже в ухо заехал!

– Ошибка самая маленькая —, говорю, — чуть-чуть мне жизни не стоила.

Он ногою топнул. Не понравилось: правда глаза режет.

– Убрать его к другим казакам!

Сказал и исчез, аки бес, крестным знаменем опаленный.

Так-то вот я второй уже день с сотней «пленных казаков» в большом сарае заключен: есть меж них и купцы московские, и крестьяне пригородные, и дворовые люди, но раз бородатые, то для французов все казаки!

# Глава девятнадцатая

*Тарутино и уход французов из Москвы. «Сувениры» конвойных. Барчук-ополченец. Совет доктора де ла Флиза*

Октября 6. Солдат, что нам хлеб и воду приносит, спрашивает меня нынче, далеко ли от Москвы село Тарутино.

Слышал я еще от лейтенанта д'Орвиля, что король неаполитанский Мюрат по Рязанской дороге около села Тарутина лагерем стоит.

– А что, – говорю, – не было ли там сражения?

– Кто тебе говорил?

– Ага! Стало быть, было? И что же, самого Мюра-та в плен забрали?

Волком на меня глянул, зубами лязгает.



– Ну, в плен-то он не дастся – не таков, хоть и в одной рубашке из палатки выскочил.

– Вот так так! Но лагерь его, значит, весь разгромили?

– Не диво, – говорит, – разгромить, коли ночью среди лучшего сна напали. Да кто же так делает! Но это вам, русским, так не пройдет. Иван Великий ваш со всем Кремлем взлетит теперь на воздух!

– Ну, это была бы дьявольская месть – разрушить нашу народную святыню; сделать это и Наполеон ваш не посмеет.

– «Не посмеет»! Коли маршалу Мортье отдан уже приказ: как только мы уйдем из Москвы...

Спыхватился он тут, что проболтался, прикусил язык и, ворча, убрался вон.

Советы доктора Ларрея Наполеону не пропали, значит, даром. А что же с нами-то, с пленными, станется? Расстреляют нас также или с собой увезут?

Так и призвал бы на уходящих гнев Божий по псалму Ломоносова:

*Да сильный гнев Твой злых восхитит,*

*Как бурным вихрем легкий прах,  
И Ангел Твой да не защитит,  
Бегущих умножая страх!  
Да помрачится путь их мглою,  
Да будет ползок и разрыт,  
И Ангел, мстящею рукою  
Их вслед гоня, да устрашит!*

*На привале, октября 7.* Еще третьего дня, оказывается, накануне Тарутинского дела, кавалерия вице-короля итальянского Евгения Богарне и пехота генерала Брусье ушли якобы на разведки; а Тарутино к общему отступлению всех дванадцяти языков последний толчок дало.

С раннего еще утра сегодня двинулся Даву, за ним сам, потом Ней, а мы, пленные, в хвосте. Стало быть, не расстреляют; и за то спасибо! Остается в Москве покамест один Мортье с гарнизоном в 8000, будто бы для охраны жителей, а на самом деле, пожалуй, и вправду, чтобы Кремль взорвать. Да все как-то не верится еще в такое варварство!

Идем мы не прежней уже Смоленской дорогой, где все сожжено и разорено, а внутрь России на Калугу: край-де изобильный, жит-

ница России. Погнали нас, пленных, хоть и последними, но, будучи налегке, мы обгоняем одну воинскую часть за другою. У каждой ведь роты бесконечный обоз с «военной добычей», у каждого офицера тоже по несколько колясок и подвод, доверху нагруженных. Теперь вот и нас затерло, стоим уже с час времени на одном месте. Проходит артиллерия, но и ей не пробраться из-за четырех рядов повозок. Все друг друга торопят и сами теснят, заграждают. В воздухе гам и брань гуще пыли стоит.

Только нам, пленным, не к спеху; куда нам торопиться? При уходе из Москвы роздали нам, вместо одного фунта, по три фунта хлеба, с упреждением, чтобы раньше трех дней новой раздачи не ожидали. Но, наголодавшись, о завтрашнем дне мало кто заботится: кто из трех своих фунтов два уже покончил, а кто и последний дожевывает. Жуют и меж собой о горестной судьбе своей беседуют.

Один лишь, пригорюнившись, в сторонке уселся, ни с кем ни словечка – не нашего поля ягода, барчук-ополченец; чуть пушок над губой пробивается. За его нелюдимость да за ру-

ки белые, холеные, другие его «барышней» прозвали. Я с ним всего раз заговорил, но он в ответ мне только «да» да «нет». Жалко его, бедненького; но навязываться тоже не хочется.

А конвойные, закусывая, достают из своих ранцев манерки с водкой да при сей okazji высыпают наземь и все содержимое ранцев, чтобы друг перед дружкой московскими «сувенирами» похвалиться. Один хвастает золотым кубком и китайской фарфоровой вазочкой, другой – жемчужным медальоном и бриллиантовой генеральской звездой, а третий – золотым распятием, драгоценными камнями усыпанным.

– В соборе с алтаря снял! – говорит. – Старухе-матушке на память везу.

– Да крест-то не наш католический, а православный, – говорит другой. – Вот у меня памятка так памятка! Что это, ну-ка? Ни за что не угадаете! Когда кровельщики с Ивана Великого золотой крест снимали, так крест с вышины на мостовую грохнулся. А я тут по счастью как раз на карауле случился. Вижу – от креста осколок; я его в карман.

– Да это же не золото!

– Как не золото?

– А вон посмотри: на изломе серебро просвечивает. Крест-то был, значит, серебряный, только сверху позолочен.

– Хоть бы и так; а я этого осколка и на вес золота не отдам.

– Пустой ты человек! Я вот своей невесте подвенечное платье раздобыл. Укоротить только: боярыня, что его носила, была, видно, богатырша.

– Ах ты, простофиля! Да ведь это амазонка для верховой езды.

Кругом хохот. И жених смеется:

– Ну что ж, на свадьбу верхом поедет...

*Октября 8.* Под орудиями мост провалился. Пока саперы его чинят, мы на берегу сидим, у моря погоды ждем.

Конвойные костер развели, в котле похлебку рисовую варят. Ходят мимо и марки-тантки, всякие «деликатесы» предлагают. Только таковые не про нас, оглашенных: ни у кого гроша медного – все отобрано. Смотрим да облизываемся. У меня хоть еще горбушеч-

ка хлебная на черный день припрятана.

Оглянулся: где-то мой барчук-ополченец? Ковылял ведь через силу: в ногу ранен; верно, пуще разболелась. Ан он, как приплелся, так и повалился; лежит с закрытыми глазами, руку под щеку подложил; не шевельнется. Вспомнилось мне тут, что один из пленных у него поутру остаточный хлеб его выклянчил. Уж не с голоду ли несчастный так ослабел?

Подошел я, спрашиваю:

– Послушайте: вы не спите?

Открыл глаза, испуганно на меня уставился.

– Нет; а что?

– Не угодно ли? Чем богат, тем и рад.

Подаю ему свою горбушечку. Протянул он уже руку, но тотчас назад опять отдернул.

– Благодарствуйте, – говорит. – Я сыт... Вот кабы воды глоток...

– Воды я сейчас достану.

Положил ему отвергнутую горбушку на колени, а сам к речке; зачерпнул воды полшапки и – назад. А он, глядь, уже последний кусочек в рот сует. Устыдился, глупенький, покраснел и поскорее водой запил. Чтобы его не

смущать, я отошел прочь. Но когда в путь опять тронемся, я его под руку возьму, чтобы легче идти ему было.

*Октября 9.* Подружились. Сперва он не хотел на руку мою опираться, но потом согласился. Погода и дорога отчаянные: дождь и слякоть. Но мы с барчуком моим не унываем: рассказываем друг другу о своих похождениях. Имя и отчество его – Сергей Александрович. Фамилии своей он мне как будто нарочно не называет; но не скрыл, что из родовитых дворян и что воспитывался в Москве во французском пансионе. Когда было объявлено народное ополчение, он просился у родителей туда же. Его не пускали.

– Но как же не идти защищать отечество, – говорит он мне, – когда все идут! И я ушел тайком, без родительского благословения... И вот...

Он отвернулся, чтобы не показать мне своих слез.

*Октября 10.* Сегодня нам объявили, что хлеба уже не будет, что можем быть благодар-

ны и за лошадиную пададь. Дело в том, что обозные лошади, изморенные донельзя, не в силах уже везти нагруженных фур и падают как мухи. И мы же, пленные, должны сдирать с них шкуру, жарить для себя их мясо; но там нет уже времени свое жаркое хорошенько прожарить, и приходится есть его полусырым, пропитанным еще вдобавок дымною гарью. Я волей-неволей глотал эту мерзость: голод не тетка! Но Сергей Александрович давится каждым куском и с отвращением опять выплевывает.

*Октября 11.* Неожиданная встреча – доктор де ла Флиз! Ларрей поручил ему объездить всю линию. И вот сегодня на привале на глаза ему попался мой барчук.

– А, – говорит, – мосье Серж! Вас тоже с собой потащили? Ну, что ваша нога? Дайте-ка осмотреть.

Осмотрел, обмыл, перевязал.

– Будь еще в Москве, в госпитале, – говорит, – я положил бы вам ногу опять в лубки, подвязал бы вверх холстинкой на блоке – сразу легче бы стало. Ну, а на походе... Лазарет-

ные фургоны у нас своими переполнены... Если бы кто мог делать вам хоть раз в день перевязку...

– Я буду делать, – говорю. – Вы, г-н доктор, меня, кажется, не узнали?

– Ба-ба-ба! Андре! И вас из Смоленска захватили? Чем вы-то провинились?

– А вот спросите. Я и не сражался, а меня чуть-чуть не расстреляли.

– Ох, да...

Огляделся кругом, не услышат ли свои французы.

– Вот что, друзья мои, – говорит нам шепотом, – вышел секретный приказ по армии пристреливать всякого пленного, который отстанет от своей партии на 50 шагов.

– Бог ты мой! – говорит Сергей Александрович. – То-то мне сдавалось, что позади нас стреляют... Так это, стало быть... А с моей ногой я далеко уж не протащусь...

– Нет, мой милый, – говорю я ему, – если нужно, я взвалю вас себе на плечи. Но скажите, г-н доктор, зачем отсталых пристреливать? Они же безопасны. Это бесчеловечно!

Де ла Флиз плечами пожал.

– Отдохнув, – говорит, – они могут стать опять опасными.

– Да ведь этак до Парижа половину из нас перестреляют!

Он усмехнулся, но досадливой, недоброй усмешкой.

– Что ж, – говорит, – всех вас две тысячи; одна тысяча все-таки доплетется до Парижа: надо же показать там, что мы не даром побывали в России! Эх, господа, как вы оба недогадливы! Неужели вы не поняли, для чего я вам рассказал про секретный приказ?

– Для того, чтобы мы бежали из плена? – говорит Сергей Александрович. – Да куда мы убежим? Мы не знаем даже, где наша армия.

– Она близко – у Малоярославца. На завтра ожидают генерального сражения. В общей суматохе вашего ухода никто не заметит... Однако я заболтался. Прощайте, господа. Храни вас Бог!

Неприятель тоже, а что за славный человек!

В секретном приказе мы скоро убедились на деле. Только двинулись опять в путь, как вдруг за нами выстрел. Оглянулись: нашу

партию нагоняет конвойный, на бегу ружье заряжает: кто-нибудь, значит, отстал на 50 шагов...



Далее рукопись сильно подмочена и многого не разобрать. Есть, однако же, связные фразы и более или менее цельные отрывки, так что общая связь существенно не нарушена.)

# Глава двадцатая

*Братание и разлука. Сражение при Малоярославце. Донцы графа Платова. Самозванный казак*

– У меня, – говорит, – нет братьев; а у вас?

– У меня тоже нет.

– А вы мне теперь все равно что брат родной! Так будем же с этой минуты на «ты»?

– Но я, – говорю, – не из благородных...

– Вы лучше многих так называемых «благородных»: вы благородны душой. Значит, «ты»; хорошо?

– Хорошо; но по имени нам как друг друга называть?

– Да как нас дома называли. Тебя, верно, Андрюшей?

– Андрюшей.

– Ну, а меня Сережей. Так и для тебя я Сережа.

И обнял меня, поцеловал троекратно...

... Отстали мы с ним от партии уже шагов если не на все 50, то на 30.

– Дальше не могу... – говорит Сережа. –

Оставь меня здесь и уходи один...

– Нет, – говорю, – я от тебя уже ни шагу.

– Ну, милый, пожалуйста! Ведь и тебя прикончат. Вот и конвойный с ружьем...

Тогда я, без дальних слов, взял его, как ребенка, на руки и – в сторону леса. Вдогонку мне выстрел конвойного.

Я все вперед, увязаю в снегу. Сзади французская брань. Оглянулся: нас догоняет уже не один конвойный, а двое, за ними еще третий.

Вдруг из опушки выступает седовласый поп с крестом в руках, за ним десяток мужиков с дубинами.

Но первый конвойный меня уже настиг и прикладом, как обухом, по голове. Я падаю вместе с Сережей. Меня хватают и толкают в спину:

– Марше! марше!

Третий конвойный, отставший от товарищей, стреляет по крестьянам, а сам бежит также назад. Крестьяне его уже не преследуют, а подбирают бедного Сережу. Он спасен. Слава Тебе, Боже!

...Расставили часовых, развели костры. Со

стороны Малоюрославца все чаще «бум!» да «бум!». Бой, видно, еще жарче разгорается. А я думаю о моем названом брате; поп его, верно, у себя приютил, отправит домой к родителям... Суждено ли нам с ним еще когда свидеться?..

...вихрем налетели; сам Платов впереди...

...конвойных и след простыл. Пока что, однако ж, самому Платову еще не до меня...

... – А партизан-то Сеславин, – говорит, – по пути к Малоюрославцу Наполеона первым ведь углядел.

– Как так?

– Да так, что высматривал неприятеля с верхушки дерева. Глядь: карета с конвоем гренадеров в мохнатых шапках. Ну, стало, Сам! Спустился с дерева да на коня. А один их унтер отстал от кареты. Сеславин арканом его к себе притянул, по рукам, по ногам скрутил голубчика, через седло перекинул и – в главную квартиру...

... – А Милорадович-то переход в 50 верст



Графъ Матвѣй Ивановичъ Платовъ.  
Съ гризюры Вендрамини, сдѣланной съ портрета Сентъ-Обена.

до Малоярославца в один день совершил. Светлейший его обнял. «Ты ходишь, – говорит, – скорее, чем ангелы летают!»

– Так дрались, значит, отчаянно?

– И-и! За день город восемь раз, почитай, переходил из рук в руки. Теперь наша армия каменной стеной стоит, и на Калугу путь им отрезан: не угодно ли, господа, на разоренную Смоленскую дорогу!

– А нового боя Кутузов им не предложил?

– Его спрашивали, не добьет ли он их. «Зачем, – говорит, – проливать лишнюю кровь? У них и без того все само собой развалится»...

...Платов рвет и мечет.

– Такие вы, сякие! – говорит. – А еще донцы! Ведь сказано вам было, что кто мне доставит Бонапартишку, живого или мертвого, за того, будь он хоть простой казак, дочь свою любимую, единственную замуж выдам. Так нет же, на золото проклятое позарились!

И, в самом деле, как ему не досадовать: в ночном поиске донцы его у неприятельской артиллерии 40 орудий уже отбили. За орудиями же, как на грех, императорский обоз идет. Накинулись донцы на обоз, а в обозе-то бочонки с золотом. Тут уже не до орудий! А на помощь обозу, откуда ни возьмись, Наполео-

новы гренадеры и конница. Забрали донцы золото, прихватили 11 орудий, знамя и одного пленного французика – да и на попятный. А от того пленного потом узнали, что гренадеры и конница сопровождали самого Бонапартишку: объезжал он, вишь, позиции после вчерашнего боя. И его-то они из-за золота из рук упустили! Ужасно обидно...

...Хоть и атаман он своих донцов, но мне не начальник, и я настоял на своем.

– Простите, – говорю, – генерал, но инструкция была секретная...

– Настаивать, – говорит, – я не стану. Секретные инструкции главнокомандующего другим начальникам меня не касаются. Но за уходом неприятеля из Москвы, думается мне, та инструкция Давыдову уже запоздала.

– Не смею судить, – говорю. – Но Свириденко перед смертью с меня клятву взял...

– Хорошо, – говорит. – С моей стороны препон тебе не будет. Бери себе коня. Ведь на коне сидеть умеешь?

– И скакать могу хоть без седла.

– А на седле тем паче? Ну, а кони наши ка-

зацкие – добрые. Добрый конь всаднику уверенность и смелость придает. Налетишь на вражескую цепь – с пикой сквозь всю цепь стрелой проскочишь.

– Пики-то, – говорю, – у меня нет...

– Что ж, и пику тебе, так и быть, дадим. Но коли тебе ехать к Денису Васильичу, так мешкать уже не приходится. С дороги вряд ли собьешься: возьмешь отсюда прямо в Можайск...

– А от Можайска на Бородино и Гжатск дорога знакомая. А что от вас, генерал, Денису Васильичу сказать прикажете?



– Скажи, что у меня теперь 15 казачьих полков; что партизаны Сеславин, Кайсаров, Фигнер, князь Кудашев, Ефремов со своими летучими отрядами точно так же теснят

неприятеля денно и ночью со всех сторон. Когда Бонапарт бросится бежать на Можайск и Вязьму, а будет то не нынче завтра, так не дадим ему передышки, пока не доконаем. Самому же Денису Васильичу главнокомандующий сикурсу два казачьих полка посылает...

...Переночевал в крестьянском овине. Давно не спал так сладко, ибо ложем снопы овсяные служили. Коня тем же немолоченым овсом накормил...

...Бородинское поле – поле мертвых! Куда ни глянешь – неприбранные тела; русские и французы лежат мирно рядом. Тут же лошади, подбитые орудия... И везде-то воронье поганое стаей летает! А вон и воронье человеческое – мародеры: обшаривают павших. Налетел я с пикой, гикнул по-казацки, один поганец на колени:

– Пардон! Пардон!

У страха глаза велики. А прочие кто куда врас сыпную:

– Казак! Казак!..

# Глава двадцать первая

*Крестьяне-партизаны и партизан Давыдов.  
«Несчастливая страсть!» Кольцо вестфальца*

А перед въездом в село от околицы к околице «застава»: путь бревнами загорожен, и два дюжих мужика караулом стоят: один, молодой – с здоровенной палицей, другой, степенный старик – с ружьем.

– Стой! – кричат мне и оружием потрясают. – Кто такой и куда едешь?

Пока им ответ держу, из села на их окрик толпа высыпала: не одни мужики – и бабы. Все тоже вооружены кто чем: ружьями, дрекольями, вилами, топорами.

Как узнали, что я к казачьему начальнику Давыдову, бревна тотчас отвалили, а староста – старик с ружьем – в избу к себе отдохнуть зазвал.

– Нам от самого Дениса Васильича, – говорит, – наказ строгий дан – никого без опроса мимо не пропускать. Мало ли этих миродеров, с убитых наших одежду обобравши, солдатами русскими переодеваются! «Попадетсся

вам, мол, такой ряженный басурман, так вы его живо прибирайте. А буде их целая ватага нагрянет, то принимайте их ласково, как дорогих гостей, в ноги им кланяйтесь, пирогами кормите, вином-пивом поите, а сами тем часом трех-четырёх парней своих верхом на коней, чтобы искать меня во все стороны скакали; я, мол, вас уже выручу. Бог велит православным христианам не выдавать друг друга чадам антихриста»...

– И ружья вам, – говорю, – он же роздал?

– Нет, ружья-то на свои кровные денежки купили; да по сходной цене: по 10 копеек штука.

– Как по 10 копеек? Кто же вам так дешево их отдавал?

– А свой же брат, крестьяне: на Бородинском поле подобрали.

– У вас, – говорю, – и бабы, я вижу, воюют.

– А как же. Ведь вон старостиха Василиса во французской шинели ходит, с французской саблей через плечо; целую шайку миродеров в полон, слышь, взяла. Фельдмаршал Кутузов ей за это Егория пожаловал. Вот нашим бабам и завидно, особливо невестушке.

Сам, ухмыляясь, молодой невестушке подмигивает, а та рукавом закрывается.

– Ну тебя! – говорит. – Другие бабы с ребятами в лесу укрываются; а я от мужа ни на шаг.

– Молодца! Тоже, как Василиса, Егория заслужишь.

...Стал меня тут Денис Васильевич обо всем расспрашивать. Когда я ему рассказал, как крестьяне меня у своей «заставы» задержали. «Меня самого, – говорит, – на первых порах пропускать не хотели. Гусарский ментик мой за французскую форму принимали.

– Да разве я с вами, братцы, не русским языком говорю?

– Мало ли у них, батюшка, всякого сброду люди!

Вижу, надо мне к их одеже и обычаям приноровиться. Сам надел тоже мужицкий кафтан, отпустил бороду, вместо ордена Св. Анны повесил образ Николая Чудотворца и заговорил с ними их же простонародною речью. Теперь я у них свой брат, батюшка Денис Васильич. Приходят ко мне со всякими просьба-

ми...»

– И у меня к вам, Денис Васильич, – говорю, – была бы просьбица...

– Если исполнимая, то отчего же? Исполню.

– Возьмите меня к себе добровольцем!

– Гм... Да ведь воинским оружием владеть ты еще не обучен?

– На Бородинском поле своей пикой на мародеров какого страху нагнал!

– Ну, то уже не воины – вороны! А пуганая ворона и куста боится.

– Но хотелось бы тоже отечеству послужить...

– Так можешь состоять при сотнике Мотылеве, который пленными ведает.

Сопровождал с молодым казачьим сотником Мотылевым в Юхнов партию пленных «францев». Дорогой с ним разговорились. Мотылев не может нахвалиться своим лихим командиром: сам везде первый впереди, а людей своих бережет. Задача Давыдова, как партизана, не в том, чтобы с неприятелем в открытый бой вступать, а в том, чтобы всяче-

ски тревожить его и днем и ночью да отбивать неприятельские транспорты. Посему он беспрерывно передвигается с места на место. На случай встречи с превосходными силами условлено правило: по сигналу всем рассыпаться в разные стороны, каждому скакать самому по себе и затем пробираться окружным путем к общему сборному пункту – за 10, а то и за 20 верст.

– Денис Васильевич, слышно, – говорю, – и стихи пописывает?

– Да еще какие! – говорит Мотылев. – Душа у него на все отзывчивая. В мирное время он блага жизни воспевал; теперь – одну войну:

*На вьюке в тороках цевницу я  
таскаю,  
Она и под локтем, она под головой;  
Меж конских ног позабываю,  
В пыли на влаге дождевой.  
Так мне ли ударять в разлаженные струны  
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?  
Пусть загремят войны перуны —*

## *Я в этой песне виртуоз!*

Запишу еще два случая из партизанской жизни Давыдова, рассказанные мне Мотылевым: один – забавный, другой – зело трогательный.

Влезли два казака в лесу на высокое дерево, чтобы следить за неприятелем. Видят они тут в прогалине французского офицера: ходит себе по лесу беззаботно, как ни в чем не бывало; в руках – ружье, через плечо – охотничья сумка, а следом – пес легавый. Дали своим свист. Те тут же прискакали, окружили охотника, обезоружили, привели к Денису Васильевичу.

– Позвольте отрекомендоваться: подполковник Давыдов. А я с кем имею честь?..

– Полковник Гетальс 4-го Иллирийского полка.

– Рад познакомиться. Нельзя ли полюбопытствовать, что у вас в сумке?

Глубоко вздохнул полковник.

– У битая дичь... – говорит и достает из сумки огромного тетерева.

– Славная штука, – говорит Денис Васильевич и бросил тетерева казаку, а тот его на пи-

ку подхватил. – Но как вы, г-н полковник, от своего батальона отбились?

– Несчастливая страсть! – говорит. – Малерез пассион! Я – страстный охотник... В Москве достался мне прекрасный легавый пес; а в здешних лесах такая масса дичи...

– Что вы ушли вперед от своих, чтобы немножко пострелять?

– Да... Малерез пассион!

– Ну, ребяташки! – говорит Денис Васильевич казакам. – Сейчас подойдет батальон этого полковника. Гайда, на коней и врассыпную!

Налетели казаки с разных сторон на подходящих французов с гиком и криком «ура!». Такого страху навели, что одни побросали оружие, попросили пARDону, числом 200 нижних чинов и два офицера, другие по лесу разметались.

Второй случай: шел из Варшавы под конвоем неприятельский транспорт с новой одеждой и обувью для 1-го Вестфальского гусарского полка. Как только показали казаки, почти весь конвой разбежался. Защищать транспорт остался только молодой лейтенант

с десятком таких же храбрецов. Отбивался он до тех пор, пока не был ранен. Когда его потом отправляли с другими пленными в Юхнов, лейтенант этот – по фамилии Тилинг – принес жалобу Давыдову, что казаки у него карманные часы, деньги и кольцо отобрали.

– Часов и денег мне не жалко, – говорит, – Господь с ними! Но кольцо мне тем дороже, что дома мне его перед походом подарила любимая девушка.

– Храбрость и несчастье уважаются у нас, русских, не менее, чем в других странах – сказал на то Денис Васильевич. – Казаки, что отняли у вас кольцо, теперь в разъезде. Но как только они вернутся, я допрошу их и вышлю вам вещь, которою вы так дорожите.

И точно, у казаков нашлось не только отнятое кольцо: нашелся еще и локон волос, и пачка писем. Все это Давыдов отослал лейтенанту в Юхнов при любезной записке...

# Глава двадцать вторая

*Замерзшие и замерзающие. Давыдов у Кутузова. Французские знамена кланяются русским гвардейцам. «Гвардия умирает, но не сдается!»*

Правду сказал Кутузов, что «великая» армия и без нас сама собой развалится. От Малоярославца она на Можайск и Вязьму ударилась; как зверь затравленный, во все стороны мечется и бежит уже без оглядки восвояси по Смоленской дороге. Сам со своей старой гвардией во главе беглецов; остальные полчища из-за бесконечных обозов на десятки верст растянулись. Бросить орудия великому полководцу зазорно, так обозных лошадей для орудий выпрягают; а лошади, на шипы не подкованные, на мерзлой почве скользят и падают; упавши же, подняться уже не могут и другим путь заграждают.

Наше дело партизанское – подгонять бегущих, подхлестывать, а где можно без урона – забирать и пленных, особенно из отсталых, что за хлебом по сторонам шатаются.



По ночам изрядно уже морозит.

– Только бы еще снежку, – говорят казаки, – по свежей пороше травить зайцев куда способно.

...Попалась нам партия тяжелораненых неприятелей; руки к нам с мольбой простирают, чтобы умилосердились.

Что же оказалось? Везли их еще из-под Малеярославца. Но здоровые товарищи из лазаретных фургонов их в чистом поле высадили, чтобы в те фургоны свою добычу нагрузить и самим поскорее убраться подобру-поздорову!

– Прикажете их прикончить, ваше высокородие? – спрашивают казаки у Давыдова.

– Таких-то убогих? – говорит Давыдов. –

Не изверги мы, а православные христиане. Лежачего не бьют. Доставим их в ближайшую деревню; а там пускай уж, как знают, с мужиками ведаются.

*Октября 23.* Под Вязьмой, говорят, было жаркое дело с корпусами вице-короля итальянского, Даву, Нея и Понятовского. Партизаны Сеславин и Фигнер поддерживали наши регулярные войска.

– Экие счастливцы! – вздыхает Давыдов. – Ну, да и мы не зевали: в общем взяли уж 4000 нижних чинов и 43 офицера.

Немало меж пленных и перебежчиков. Один мне рассказывал, будто Наполеон предлагал уже генералу Бертье принять командование всей армией, но тот отвилънул; предлагал и другим, а те:

– Ваше величество одни только своим присутствием можете поднять упавших духом.

– Но сам-то он еще не пал духом? – спрашиваю того перебежчика.

– Кто его ведает! В теплой собольей бекеше, в собольей боярской шапке что ему делается? А надоест сидеть в коляске, идет тоже

пешком...

– И саблей подпирается?

– Нет, березовым суком: по гололедице, того и гляди, еще поскользнется...

*Октября 24.* Вчера первый снег пошел, а ныне густыми хлопьями уже валит. Дождались казаки своей пороши!

*Октября 27.* Пятый день снег, да какой! Метелица опять так и вьет, так и вьет! По Смоленскому тракту целыми холмами сугробы намело. Ледяной ветер в деревьях бушует и свищет, сквозь бурку до костей пробирает. Мороз-то ведь в 20 градусов.

А с неприятелем что творится! Главная-то армия уже далеко за Вязьмой, пожалуй, и за Дорогобужем. Но отставшие части и завязшие в снегу обозы на каждом шагу еще попадают. Посреди дороги и в канавах опрокинутые фургоны, кареты и коляски. Иные без лошадей: очевидно, отпряжены и увезены; перед другими лежат лошади, еще в упряжи, но окоченевшие; где морда, где ноги из-под снега торчат. Кругом же, под снежной пеленой,

всевозможное награбленное в Москве добро: люстры, масляные картины, книги в богатых переплетах. Развернул я одну с золотым обрезаем: не романчик ли? Ан нет, философское сочинение некоего Вольтера – не про нас писано!

А сами-то грабители, что отбились от своих, вразброд пешком уже бредут да словно в маскарад собрались: кто в одеяло лазаретное закутан, кто в салоп женский, кто в рясу поповскую...

Это уже не враги, а просто жалкие люди. Мало ли их взято Наполеоном против собственной воли прямо от сохи или от другого дела, увезены силой от своих семейств. И вот, ни за что ни про что, погибают в чужой стране!

Но, кроме пришлых, есть и московские французы, сдуру последовавшие за великой армией. Так в одной карете без лошадей найдены три замерзшие женщины. По их нарядам да бриллиантам надо думать, что две из них были актрисы, а третья – горничная.

...Сейчас только хорунжий Крючков вернулся из поиска с тремя сиротами: старшая



девочка-подросток несла на руках трехлетнюю сестренку, а сзади восьмилетний братишка плелся и навзрыд плакал. Оба родителя их дорогой замерзли. Денис Васильевич обогреть, накормить их велел, а крестьяне уже в город их предводителю дворянства сдадут: пусть поступит с ними, как знает. Сами мы все вперед да вперед, дабы скорее настигнуть нашу армию.

... Давыдов в главную квартиру был вызван. Явился он туда, как был, в своей походной мужицкой одежде. Обошелся с ним свет-

лейший просто и ласково.

– Лично, – говорит, – я еще не знаком с тобой, но прежде знакомства должен поблагодарить тебя за твою службу.

Сказал и крепко обнял.

– Удачные поиски твои, – говорит, – доказали мне всю пользу партизанской войны.

Денис Васильевич извинился, что предстал в столь неприглядном образе.

– В народной войне, – сказал фельдмаршал, – сие неизбежно и даже необходимо. Действуй, как подействовал доселе – головою и сердцем. Мне нужды нет, что голова покрыта шапкой – не кивером, а сердце бьется под армяком – не под мундиром. Придет время – и ты будешь в башмаках на придворных балах.

Порасспросил еще обо всем, а потом и обещать к себе зазвал да так обласкал, что Денис Васильевич, памятуя пословицу «Куй железо, пока горячо», решился каждому из своих офицеров по две награды выпросить.

– Бог меня забудет, если я таких молодцов забуду, – сказал Кутузов и тогда же подписал наградной список.

...О, мой Смоленск, мой дорогой Смоленск, что с тобою случилось!

Петербургского предместья словно бы никогда и не бывало – одно снежное поле. По берегу Днепра разбитые фургоны, зарядные ящики, пушки и... неприбранные тела! Кругом весь снег усеян неприятельскими киверами, барабанами, саблями, ружьями, пистолетами.



В самом городе и из тех обывательских домов, что пощадил огонь при августовском погроме, большая часть сожжена. На месте прекрасного каменного дома Толбухиных точно так же одни только развалины; не одну такую слезу над ними пролил...

Мимо! Прошедшего не воротишь... Надо утешаться тем, что отечество спасено и враг бежит.

Особой похвалы фельдмаршал удостоил гвардейский корпус. Подъехав со свитой к биваку гвардейцев, он так их приветствовал:

– Здравствуйте, молодцы! Поздравляю вас с новой победой! Вот и гостинцы вам везу.

А везли за ним отбитые у французов знамена с орлами.

– Эй, кирасиры! Нагните орлы пониже: пусть кланяются молодцам! Граф Платов доносит мне, что взято 112 пушек и... сколько генералов? Не помните ли, генерал?

– Пятнадцать, – отвечает генерал Опперман.

– Слышите, друзья мои? Пятнадцать генералов! Ну, кабы у нас столько же взяли, так много ли бы осталось? Пушки можно сосчитать на месте, да и то не верится. А в Питере скажут: «хвастают!»...

...Дабы раньше неприятельской армии быть у Красного, мы форсированным маршем обгоняем ее обходами...

...На рассвете к Денису Васильевичу весть пришла от наших разъездов, что колонны неприятельской пехоты, в ожидании отставшего хвоста, сделали привал. Мы немедленно на них ударили, забрали в плен двух генералов: Альмераса и Вюрта, и 200 солдат; захватили также 4 орудия и обоз.

К полдню на большой дороге показалась Наполеонова старая гвардия и при ней он сам. Но – удивления достойно – сколько на них ни налетали, ни гарцевали с обоих флангов со своими пиками удальцы-казаки, а императорские гренадеры, сей отбор великой армии, в своих высоких медвежьих шапках с красными султанами, в синих мундирах с толстыми эполетами, шли себе сомкнутыми рядами, нимало шагу не ускоряя. Презрительно лишь косились на гарцующих, якобы на шалунов-мальчишек, да на ходу отстреливались.

Подоспел тут к нам сикурсом граф Орлов-Денисов с ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казачьего полка. Тоже наскакивали и справа и слева, и так и сяк, но,

волнам морским подобно, отпрядающим от неколебимого утеса, назад отскакивали. От наших пуль иные гренадеры хоть и падали, но товарищи на ходу их подбирали и все тем же мерным шагом вперед да вперед.

Сам Денис Васильевич пред таковою доблестью преклонился.

– Недаром, – говорит, – у них и поговорка сложилась: «Гвардия умирает, но не сдается»!..

# Глава двадцать третья

*Сражение у Красного. Французские биваки – кладбища. Последний вздох лейтенанта д'Орвиля. Наполеон угрожает небесам*

*Красный, ноября 6.*

*Гром победы, раздавайся!  
Веселися, храбрый росс!  
Звучной славой украшайся:  
Бонапарта ты потряс.*

При Измаиле Магомета, а здесь, под Красным, самого Бонапарта! Трое суток он еще отбивался, но улыбавшаяся ему столько лет Фортуна навсегда уже лик свой от него отвортила. И бежит он, аки Каин, кровь брата проливший, бежит без оглядки, отягчив свою совесть гибелью тысяч, сотен тысяч братьев.

Брошенные им здесь, в Красном, раненые, оборванные, голодные калеки, толпятся под окнами Милорадовича, и милосердный враг кормит, призревает их.

Здесь же неожиданная встреча. На улице меня окликают:



– Андрей Серапионыч! Так ведь вас, кажется?

Гляжу: поручик Шмелев! Разговорились.

– А вас, Дмитрий Кириллыч, – говорю, – я вижу, тоже Георгием отличили?

– Сам светлейший, – говорит, – в Смоленске вручил. Да рад я не столько даже за себя, как за мою Вареньку: она так уж довольна, так счастлива!

– Стало быть, вы Варвару Аристарховну опять видели?

– Из Смоленска на несколько часов в Тол-

буховку слетал. Про вас тоже спрашивала. А матушка ваша просила, буде с вами повстречаюсь, взять вас под мою охрану. Отчего бы вам, в самом деле, не примкнуть теперь добровольцем к нашему отряду?

– Да у меня, – говорю, – нет своей лошади...

– У меня есть запасная...

...форсированным маршем, но нагнать бегущих все еще не нагнали. Зато сколько оставших! Это уже не войны, даже не люди, а живые привидения, в грязных, на бивачном огне прожженных рубищах, висящих клочьями. На голове у иных еще кивера, кирасирские каски с конскими хвостами, у других собственные ранцы, женские платки, жидовские ермолки. Ноги тряпками, рогожей обмотаны. И не одни нижние чины в таком образе плетутся, но и офицеры. Завидев нас, они отворачиваются; просить у «варваров» пощады или помощи не позволяет им гордость «великой нации». Но солдаты руки простирают:

– Клиеба! клиеба!

Есть и такие, что уже проклинаят своего

полубога-императора, а дезертиры из других наций даже на службу к нам просятся...

...Всего ужаснее их биваки после ушедшей далее партии. Издали уже слышно карканье и рычание; а подъедешь – взлетают вороны, отбегают волки и одичалые собаки. Вокруг потухающего костра расprostерты замерзшие люди. Сохранившие еще искру жизни пожирают недожаренную или сырую конину, вырывают кровавые куски из рук друг у друга, а на нас, пришельцев, озираются с опаской, как бы мы не отняли у них этой последней, отвратительной пищи. Одного мы силой от огня оттащили: обезумев, он свои отмороженные ноги на тлеющие угли протянул и пятки себе уже дочерна обуглил.

И вдруг, смотрю, в стороне от костра, прислоняясь спиной к дереву, сидит на земле молодой офицер в треуголке, в знакомом мне синем мундире, крестик Почетного легиона в петличке... Святые угодники! Никак д'Орвиль?.. Худой-прехудой, бледный-пребледный; веки полузакрты... Жив еще или замерз?..

Подошел к нему, за плечо тронул.

– Г-н лейтенант! Вы ли это?

Раскрыл глаза, еще узнал меня:

– Андре...

Прошептал только и, как сноп, набок. Хочу его поднять, а он опять валится и вот на снегу во весь рост вытянулся.

Заглядываю ему в глаза – глаза ширятся, взор тускнеет, делается стеклянным... Еще одна жертва Наполеонова гения!..

После жестокой стужи с юга теплом потянуло; тает; по земле туман стелется. Но от непривычных морозов и долгой голодовки французам не оправиться; сырая погода пуще их разбирает: плетутся вперед, доколе ноги еще носят, а раз упав, остаются уже лежать, чтобы никогда не встать...

*Ночь на 14 ноября.* Еврейская корчма. Пишу при свете лучины. Кругом храп и стоны. На скамьях – офицерство, на полу – вповалку, вперемежку, тяжелораненные, свои и французы.

Хозяйка-еврейка в углу жметя, грудного

младенца укачивает.

С самого Красного впервые ночью не под открытым небом; после морозов – здесь, в тепле – меня всего тоже разморило. Но от духоты и смрада, пожалуй, навеки заснешь; лучше так промаюсь.

План Кутузова, слышно, таков, чтобы не дать неприятелю через Березину перейти. Задержать его до прибытия наших главных сил поручено адмиралу Чичагову, который и занял возвышенный правый берег против Борисова. Река уже льдом покрылась; но лед еще непрочен, и перевозить свои орудия и обоз французы и без того возможности пока не имеют. Мосты же у Борисова Чичаговым на всякий случай уже взорваны.

Один дезертир-итальянец рассказывает, что, когда о взорванных мостах доложили Наполеону, тот поверить не хотел.

– Неправда! – говорит. – Быть того не может!

– Но маршал Удино, ваше величество, стоит в Борисове и своими глазами видел, как их взрывали.

– Неправда! Маршал лжет!

Однако ж в конце концов пришлось-таки поверить, и, подняв очи к небу, он погрозил кому-то своей суковатой палкой, словно вызывая на бой самые небеса.

# Глава двадцать четвертая

*Березина. Сержант Мушерон отрекается от своего идола. Отзвуки из Толбуховки*

Ноября 15. Еще вчера еврей-корчмарь по великой тайности батальонного командира нашего упреждал, будто Наполеон с своей гвардией сам уже в Борисове; что туда бревна и хворост из лесу подвозят под видом якобы устройства переправы через реку, на самом же деле для отвода глаз Чичагову; что тем временем выше по реке, у деревни Студянки, корпусом маршала Удино крестьянские избы разбираются, и из их бревен на реке козлы ставят да два больших моста настилают.

Усомнился командир: давать ли веру хриstopродавцу? За тридцать сребреников хоть кого ведь продаст! Созвал он совет офицеров, и положили единогласно – послать нарочного в главную квартиру. До сей минуты нарочный, однако, еще не вернулся.

А полчаса назад разведчики перебежчика-иллирийца привели; просит, Бога ради, принять его тоже на русскую службу.



– Хорошо, уже увидим, – говорит командир и стал его про Студянку спрашивать.

Оказалось, что там и вправду всю ночь Наполеоновы мосты сооружались. К 12-ти часам дня сегодня первый мост уже готов, и Удино со своим корпусом на правый берег перебрался, передовые посты нашей Дунайской армии отогнал и сам высоты занял. К 4-м часам и второй мост окончили. По первому орудия и военные обозы переправляются, по второму – войска, но съехавшиеся у переправы тысячи

повозок, толпы безоружного сброда туда же напирают, и мосты, наскоро сколоченные, не раз уже ломались: саперы их наскоро чинят, стоя сами среди льдин, по пояс, по горло в ледяной воде. На переправе же неурядица полная, неопиcуемая. Вот бы когда нагрять всю нашу силу! У Наполеона, уверяет дезертир, из 650.000, перешедших в июне месяце через Неман, вряд ли и 60.000 осталось; да и те в каком виде! Но главной кутузовской армии все нет как нет! Ожидают ее только к утру...

*Ноября 18.* Третий день уж лежу в крестьянской избе с пулей в левом плече и лихоражу. Тут же на полу, с повязанной головой, сержант Мушерон прикорнул.

Главная наша армия, действительно, подошла к рассвету 16-го числа, и наш батальон с другими также к Студянке двинулся. Меня, нестроевого, взяли с собой, чтобы раненых из огня выносить. Чего-чего я тут не нагляделся!

На обоих берегах пальба непрерывная, рукопашный бой на жизнь и смерть. Неприятель в тиски попал: оттуда его Чичагов и Вит-

генштейн к реке прижали, отсюда же Кутузов к мостам теснит. А что на мостах-то делается! Подлинное столпотворение вавилонское – ни пройти, ни проехать. Оба моста экипажами и пешими сплошь загружены, а с берега новые еще напирают: обозные фуры, коляски, брички, дрожки; сидящие там женщины и дети плачут, вопят. А мосты – без перил, и в общем напоре и давке в реку бухают и повозки с людьми и пешеходы. В воде, среди льдин, утопающие барахтаются, за льдины хватаются. Вон и маркитантка Флоранс за льдину уцепилась, кричит благим матом: «Спасите! Спасите!», но быстрым течением ее уже дальше уносит.

К самому берегу две крупные льдины прибило; меж них голова виднеется, вся окровавленная. Да ведь это сержант Мушерон, коему я жизнью обязан!

Я сбежал вниз, прыгнул в воду и через силу вытащил несчастного на сушу.

Вдруг удар в левое плечо; с того берега пулей меняхватило – французской или русской – не все ли одно?

Далее ничего уже не помню: от потери

крови да от ледяной воды я потерял сознание. Потом уж меня подобрали, да и Мушерона захватили.

И вот по сей час он около меня; забинтованную голову подперев, временами лишь поохивает.

– Что, мосье Мушерон, – говорю, – разве так уж больно?

– Больно, мон пти буржуа, очень-очень больно... но не голове больно, а сердце болит!

– Что в плен попали? Обменяют пленных – во Францию свою опять воротитесь.

– Во Францию? Ах, нет, туда мне уже нет возврата!

– Почему нет?

– Почему?.. Да вы, друг мой, не видели разве, как горели мосты?

– Не видел, потому что тогда уже чувств лишился.

– Как только перешли на тот берег последние войска – из корпуса маршала Виктора – так за собой подожгли мосты. А на обоих мостах и на этом берегу оставалось еще несметное число повозок и народу. Все это с отчаянья разом вперед ринулось, чтобы поспеть

еще перебраться по горящим мостам, и все перемешалось, попадало в реку, было унесено со льдинами... О, мой император!., о! о!.. А ведь какую зажигательную речь сказал перед сражением! Обнажил саблю и воскликнул: «Французы! Поклянемся друг другу лучше умереть с оружием в руках, чем отказаться увидеть нашу милую Францию!» И вот, чтобы самому-то увидеть опять Францию, он, не дождавись тысяч своих же французов, сжег перед ними мосты... Нет у меня больше императора!

Закрыв глаза рукой, бедный сержант заплакал, как ребенок.

Тут вошел Шмелев.

– А! Очнулись, Андрей Серапионыч? И опять за своим дневником? Ведь он вместе с вами выкупался в Березине?

– Мосье Мушерон, – говорю, – высушил его у печки. Пишу, пока еще жив...

– Полноте! Всех нас еще переживете. Сейчас будет доктор и вынет из вас пулю. Не знаю только, позволит ли он мне взять вас теперь же с собою.

– Нет, Дмитрий Кириллыч, оставьте меня

здесь с Мушероном: он разочаровался уж в своем великом Наполеоне...

– Да, великан этот превратился в жалкого пигмея и удирает во все лопатки, как самый простой смертный. Наша армия по пятам его преследует – по крайней мере до границы. Ведь государь еще в начале войны объявил, что до тех пор не положит оружия, доколе хоть один вооруженный неприятель будет на русской земле.

– Но вы-то, Дмитрий Кириллыч, почему еще здесь? Или вы не идете с армией?

– Нет. Здесь, у Березины, взяты еще тысячи пленных. Их приходится расквартировать по разным городам. Мне предложили на выбор: стяжать новые воинские лавры или сопровождать пленных...

– А один лавровый листок у вас уже есть?

Он со счастливой улыбкой взглянул на свой георгиевский крестик.

– Покамест с меня довольно, – говорит. – Надо ж и другим что-нибудь оставить.

– И вы сопровождаете отсюда пленных? А по пути завернете, конечно, и к невесте в Толбуховку?

– Конечно. В январе, даст Бог, сыграем и свадьбу. А вы, Андрей Серапионыч, должны быть у нас шафером.

– Чувствительно, – говорю, – благодарен за честь. Но вынесу ли я еще операцию?.. Лучше, пожалуй, мне умереть под ножом доктора: проку от меня все равно никакого уже не будет!

– Это мы еще увидим. О вас был в Толбуховке разговор у Аристарха Петровича с вашей матушкой; вам нашли уже и подходящее место.

– Какое место?

– Я хотел до времени молчать; но, так и быть, скажу уж: тамошний приказчик – продвунной малый. Так вот для контроля над ним вам прочат место конторщика. Мы с Варенькой, признаться, подали первую мысль.

– Не знаю, – говорю, – как и благодарить вас... Но раз вы так добры, то примите участие и в судьбе мосье Мушерона; он спас меня в Москве от расстрела. У Пети Толбухина нет ведь еще нового французского гувернера. Этот годится если и не в гувернеры, то в дядьки...

– А дядька шалуну необходим. Прекрасно. Ну-с, а теперь пойду-ка на операционный пункт за доктором.

– Одно слово еще, Дмитрий Кириллыч: если бы я все-таки не пережил операции, то передайте, пожалуйста, этот дневник Варваре Аристарховне.

Он засмеялся:

– Непременно! Но нашего разговора с вами вы еще не записали...

– Нет, но до доктора еще запишу.

И вот дописал. Переживу я или нет? Боже, буди милостив мне, грешному!..